

*Автор «Черной книги» живет в России. По желанию
его друзей, мы публикуем это произведение без имени
Редактировала Н. Тарасова*

© Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., 1976
Frankfurt/Main
Printed in Germany

СКАЗ ПЕРВЫЙ

ПРО МОСКВУ, ЛЮДЕЙ МОСКОВСКИХ, ПРО БАШНЮ СУХАРЕВУ И ПРО ЧЕРНУЮ КНИГУ

И что за веселость, что за удальство, братцы, быть московским человеком!

Что с нами ни делают, как нас ни ломают, а живы мы, люди московские, и Москва наша жива, матушка. И вроде бы немало воды с неких пор утекло, а всё же есть она, Москва, и есть в ней дух московский!

Шел я нашим богоспасаемым градом, а чего шел и сам не ведаю, — Пасха сегодня, светлый наш праздник, весна, теплынь, солнышко веселит, тянет в этот день на улицу и ходишь по всем московским сорокам.

Был у Христа Спасителя, закрыт он давно и службы нет. От него — к Кремлю. Бывало, вся Москва на святой холм сходилась, ныне нашему брату туда ходу нет... А звон какой стоял — красный звон — до неба! Ноне не позвонишь — еле еле церквушки держатся, того гляди последние закроют и Бога упразднят окончательно.

А был когда-то праздник, один день в году, когда все русские люди жили в любви и дружбе. Вообще-то ох и недружны мы, русские, а тут всё забывалось, вся злость-вражда, потому что Христос Воскрес, на земле мир, в человецех благоволение!

Да... Вышел на Красную площадь, от нее — по Никольской. Иду, старину вспоминаю. Николь-

ская — улица книжная. Здесь началось книгопечатание, так и пошло — вся книжная торговля здесь. Москва книгу почитает и почитывает, любит книгу, книжный это город. На Никольской новыми изданиями торгуют, тут и слава книжная и барыш, а пройдет книга через руки людские, обтрепется, забудется и окажется на Сухаревке.

За Никольской — Лубянская площадь, место приснопамятное, не к ночи будь помянуто... За ней Лубянка-улица, а там Сретенка. Сретенка — улица торговая, чистая, строгая. Взглянешь вдоль улицы — дома на ней мелкие, двухэтажные, и видишь издали — торчит башня Сухаревская. Ближе подходишь — шумит, бурлит народ, толчок здесь наш, знаменитая Сухаревка.

Весь отброс людской и барахольный тут. Всё, что надо и что не надо, всё волокут. Всё, что хошь, продадут и обманут обязательно. Москва такой город — ловкий.

«Москва бьет с носка» — известно. А потом хошь доказывай, хоть плачь — Москва ни словам, ни слезам не верит. Ох, город! Ну и город! Лихой! И народ лихой, лише некуда. Не протолкнешься: с лотков торгуют, вразнос торгуют, сидельцы из лавочек чуть не силой к себе заталкивают. Трамвай звенит, — не проедет никак. Каждый день кого-нибудь режут, а всё ничего — Склифосовская больница напротив. И орут кругом: «А ну, ну... налетай!», «А вот, вот по дешёвке!», «Эй, навались, у кого деньги завелись!», «Подштанники новые! Интимное белье, дамский конфексьон!», «Квас на льду! Квас на льду!», «Стихи поэта Баркова! Сочинение профессора Фореля! Пикантная литература!», «Ты чего в карман лезешь? Держи непризорного!» Чего тут не бывает!

Иду по антикварному ряду и вижу: вот она, старая Россия, вся снесена на барахолку. Картины разные, еще крепостными художниками писанные, господа на них важные в париках, дамы такие, что глазу услада, — ах, ёлки точеные, думаешь, ведь жили люди и всё-то прахом пошло. Жалеть их, эксплуататоров, конечно, не жалею, а всё же грустно как-то. Иду дальше: часы с боем продаются, под стеклянным колпаком, штука такая изящная — вроде постели сделано, а на ней возлегает нимфа в натуральном виде. Раньше такие часы больших денег стоили, а нынче отдают за червонец. Ходили часики, отбивали время, да сломались, потому что ушло их время и не возвернется. Подсвечники выставлены, на три, на пять свечей — шандалами зовутся. Может, при этом подсвечнике великий наш поэт Александр Сергеевич Пушкин творил или в карты резался! Всё, чем жили, всё на барахолку! И так-то мне грустно стало, и задумался я: так-то и человек, Божья душа, отслужил свое, отпрыгал и тоже на барахолку? Странно мне это отчего-то показалось. Стою, смотрю, как народ мельтешит, а чего мельтешит, и сам не понимает. «Эх, думаю, мир-народ московский! И злыдни среди вас есть, жульё последнее, и тати, и душегубцы, и страдальцы, и мученики, и люди доброты великой, жизни праведной, а всех я вас люблю, потому что вы — люди московские. За все благодарен я вам: за то, что живете, что мимо ходите, что вижу вас повседенно! И что-то такое мне сказать вам хочется, прямо сердце рвется...»

И вижу: стоит над всем шумом-гамом одна тихая Сухарева башня. Если присмотреться — вовсе загадочное сооружение. Для чего ее поставили — никому не ведомо. Говорят, для Сухаревского стрелецкого полка (командиром в нем был Сухарев, оттого и название). Все стрельцы тогда взбун-

товались, один этот полк остался верен царю, за что Петр Великий и построил для него башню. Странное объяснение. Просто неведомо, зачем башню поставили, а стрельцов в ней поселили за неимением иного помещения. Потом там, по истории, было навигационное училище, потом и театр был, и склады, тоже по морскому ведомству. Уж потом московский губернатор князь Голицын приладил в башне водопровод. Нескладная она такая, эта башня, никто не знал, зачем ее строили и подо что ее использовать. Бесплезное сооружение. Стоит себе меж Сретенкой и Мещанской, проезду мешает, ни к чему не годная, а тоже наша, московская. Как без нее Москву представишь, да без Кремля, да без Христа Спасителя? Она тут, и Москва тут. Вам, в Париже, может быть, — Нотр-Дам, а нам — Сухарева башня. Вот как! А если бы нам сейчас такого писателя, как Виктор Гюго, чудеса бы про нее написал, честное слово!

И народ ее любит, и уж каждый в Москве знает. Это мы так только говорим, что бесплезное сооружение, а народ не то думает. Построили башню для умственного дела и, говорят, для тайного дела! И приложил сюда руку сам знаменитый московский чародей и чернокнижник. А когда строили, замуровали в ее стены Черную книгу! Вот что народ-то говорит. Чернокнижие! Проходит ночью человек мимо башни, увидит — огонёк светится в верхнем оконце, так рука сама крестит в испуге.

Черная книга в башне замурована! Тайная тайных! Вы-то о ней не слышали? О двух книгах-то ничего не знаете? Ну, ладно... Недогадливый ныне народ пошел, никто шкалика не поднесет... Спасибо, хоть ты догадался. Ну, спаси тебя Христос и с ребяташками!

Две книги их было. Одна Голубиная, она от Господа Бога, выпадала она с неба, а велика —

не обойти ее, не объехать и не прочесть, сам мудрый царь Давыд Евсеич читал ее три года, прочел три строки. Про всё в этой книге сказано: отчего на небе звезды ясные, отчего млад-светел месяц, отчего в нас души живые, и какой зверь набольшой Индрик, и какая птица набольшая Стратим и прочего много — все тайны в ней Божии, и радуется избранник, кто премудрость сию постигнет. Пели про ту книгу слепцы на паперти за сухую корочку.

Черная книга — она от князя тьмы. Написал ее Змий, от Змия перешла она к Каину, от Каина — Хаму, тот ее на время потопа хитро спрятал в тайничке, а как кончился потоп, вынул, перешла книга к сыну Хамову Ханаану, была книга и при столпотворении вавилонском, и в проклятом городе Содоме, и у царя Навуходоносора, нигде не сгибла и везде зло сеяла. Как, не знаю, попала книга на дно морское под горюч-камень Алатырь, там лежала долго, пока один чернокнижник премудрый, из арабов, не добыл книги, и снова пошла она по белу свету, и к нам на Русь попала. Тут добыл ее наш колдун и положил в башню. А чего в той книге написано, — неведомо. Не каждому ее прочесть. Писана книга на тарабарском языке волшебными знаками. Тот, кто ее прочтет, получает наивысшую власть над миром, все бесы ему повинуются, все желания его исполняются, кого хочет — заклясть может. Многие о той книге помышляли, да не достать ее. Замурована книга в стенах Сухаревой башни и заклята семью бесовскими печатями под страшным проклятием на десять тысяч лет. Вот как говорят.

Я-то полагаю, что, верно, была такая Черная книга, но что это за книга — в подробности сказать невозможно. Из старины нашей московской кой-что про чернокнижье мы наслышаны. Стогла-

вым собором были отвергнуты черные книги, сче- том восемь: Рафли, Шестокрыл, Воронограй, Ост- ромий, Зодей, Альманах, Звездочеты и Аристоте- левы Врата; и сказано было: от царя быть в неми- лости, а от Церкви отвержену. Некоторые из тех книг и до нас дошли, читал и я кой-что из отвер- женных книг, старинные травники и лечебники, к чернокнижью сопричисленные, да всё это не то — не Черная то книга, а забавного много: про ор- лов камень, что в гнезде орла находят, — чудеса творит, про змеин жир, про траву-трехлистник, про царь-траву Симтарим, что о шести листах: первый синь, другой червлен, третий желт, чет- вертый багров, а братъ надо вечером на Иванов день, сквозь золотую гривну или серебряну, а под корнем той травы зарыт мертвец, и трава та вы- росла у него из ребер. Что ухмыляетесь, не верите старым словам? Там еще много чего есть. Как от двора своего беса отогнать: сжечь совиные кости и тем дымом храмину свою кадить и двор курить, и исчезнет бес. Не пробовали? А вы попробуйте, чем смеяться-то...

Но Черная-то книга подлинная о другом — о власти над миром, потому тут и тайна наивысшая. Одно слово — Черная книга. За нее по тем вре- менам — сразу на костер. Боялись смертно. Пере- давали из рук в руки под страшной опаской. И вот, может, довели на кого: он возьми и спрячь книгу в кладку, когда Сухарева башня строилась. Ну, а потом пошла молва и превратила в легенду. Что, неподобно? Хотите верьте, хотите нет.

Человек я московский, коренной, а мы, мос- ковские, все на язык бойкие, краснобайские, для красного словца — не жаль ни матки, ни отца. Москва, она пули лить любит, такое зальет порой

— сам согласишься. Да еще чаёвники мы, водохлёбы, а почему не раскрыться за чайком в трактире, коли люди слушают? Вас потешил и сам в накладе не остался. Спасибо за компанию. Счастливого оставаться.

СКАЗ ВТОРОЙ

ПРО СТАРЦА ИРИНАРХА И ЧУЖОГО СЫНА

Скажу вам, милостивые товарищи, государи мои, чудаки живут в Москве и чудодеи. Да такие, каких нигде нет. Все мы чудаки средней руки, а я чудака из рук вон!

Иду на неделе мимо Сухаревой башни, вижу — ходит один очкастый, старый хрен, из профессоров, знаю его, всё на книжном развале ошивается. Ходит с рулеткой, чего-то замеряет, еще молоточек у него, стены обстукивает, и молодой несмышленьш с ним. Смехота. Черную книгу ищут, непременно ее! Вишь, рассказал я историю в прошлый раз здесь, в трактире советского купца Бугрова (а он мне рюмочку за это поднес, спаси его Христос!), и пошел по Сухаревке слух, что есть такая Черная книга, а в ней власть над нечистой силой. Известно, Сухаревка... То пустят слух, что видели вчера на Никитской наследника престола цесаревича Алексея, то будто объявился за границей сам государь император, чудесным образом избегший казни, то будто английская королева объявила нам войну и надо мыло скупать, то будто в Успенском соборе на полу кровавая лужа разлилась, то будто бывает у главных большевиков шабаш, и пляшут они там с голыми девками. Чего не наплетут! Московский ведь народ — озорной, вот и распустил шутки ради про эту книгу, а кое-кто из умных даже и поверил. А теперь еще Чека в это дело втесалась: ходит тут один молодец, вроде под Ивана одет, а у самого

на заднице револьвер выпирает. Неужто и эти книгой заинтересовались? Вишь, считается, кто эту книгу добудет, у того... стукачей-то промеж вас, ребята, нет?.. вот, скажем, добыть эту книгу, прочесть заклинание чертей — и теперешней власти конец. Ну, да кто теперь в чертей верит? Сказка, конечно, с нее и спрос малый. Сказка-то сказкой, а каждый ведь так думает: а вдруг есть что-то такое? Как вы, скажем, граждане-сударики? В Бога-то, небось, не веруете, а каждый думает: а вдруг есть Он-то, и тот свет, и адский пламень? Такова природа человеческая: не тверд человек, слаб тростник. Там ведь, в Чеке, тоже люди работают, знают они, что словами власть не заклать, да опасаются на всяк случай — вдруг и в самом деле есть такая книга, и станут промеж людей ходить всякие странные слова. Кому это понравится? Вот и интересуются... Да что-то заболтался я с вами, о чем не следует, далеко ли до беды... Вот спасибо тебе, прыткий, а то совсем в горле пересохло. Сам-то, молодец, откуда будешь, с каких краев-мест? Рязанский, говоришь? Похож, похож...

Послушать еще хотите? Извольте, уважу. Ах, ёлки зеленые-палки! Люблю поговорить в честной компании, язык что помело. Вот скажите мне, куда подевались на Руси праведники-угодники? Ведь были они, были, а теперь что — одни калашные рыла! А вот чтоб кто за свою землю стоял истово, за веру православную и матушку-Церковь, поди, и нету таких, повывелись. Не та Россия стала, совсем в другое государство превратилась. Неужто так и не осталось никого? А ведь какие подвижники были, веры светильники! Что ни монастырь — в нем свой старец или иной угодник, и текла по всей Руси святой река богомольцев от Киевских пещер до холодных островов Со-

ловецких. Тысячу лет так было, а вот за сколько-то подевалось куда-то, будто и не было такого ничего. А ведь страшно это, что совсем святых людей не осталось, и совсем я духом упал, да вспомнил на счастье про старца Иринарха.

Вот и начну я вам повествование житийное. Про святителей, значит, про наших тепленьких угодничков. Любим, любим мы их, люди московские. Уж мы и молимся им, и свечечки ставим. Бывало, начнешь рассказывать, — бабы ревмя ревут. Как угодник, так уж обязательно мученик, жгут его святое тело, топят, голову секут, а больше всего он с бесами воюет и с главным бесом — блудным. Чего ржете? Сами должны знать: самый дорогой дар Богу — девственность. Опять ржете? Чего вам не дано, того не дано, а святому дано. Да ты не обижайся, Божий человек. Народ собрался московский...

Иринарх-то, старец, про которого речь пойдет, — неважно, как он в миру звался, — вышел из крестьян, из самого что ни на есть пролетариата беднейшего, но со странностями был. Ребятишки играют, а он выйдет в поле и стоит часами. Задумываться начал рано. Потом, как с такими бывало, по монастырям стал ходить. А уж в возраст вошел. Родители говорят ему: женись, молодуха нужна в доме, пора помогать матери горшки в печи ворочать да за скотиной ходить. Иринарх воле отцовской не стал перечить. Оженили его, в церкви повенчали, свадьбу отгуляли. Пошли молодые спать, молодая-то его хочет постельными слабостями угощать, а он стал перед иконой и простоял всю ночь. Так и другие ночи; что баба ни делала, никак его поколебать не могла. Озлилась молодуха на мужа, да и прижила ребеночка где-то под плетнем с прохожим солдатом. Иринарх ребенка принял, в церкви его крестил и как родное

дителя нежил. А баба его гулять начала, в город сбежала, по бардакам-публичным домам пошла. А тут беда иная — болезнь холера нагрянула, померли все его родители. Взял Иринарх ребенка и пошел с ним христарадничать. Прижился он в монастырьке убогом. Жил в ветхой избенке за оградой и работал на монастырь за одни харчи себе да чужому сынку. А мальчонка рос, да злой такой, что не приведи Господь: грачиные гнезда разорял, да падал раз с липы, оттого колченог стал, кошедерничал, мучал невинную тварь. В храме непотребные слова выкрикивал. Пытались к нему с образом подойти, он в икону плюнул. Раз поймали — деревянную часовенку вздумал поджигать. Иринарха изобижал по-всякому — и камнями швырялся, и ножом кидался, но тот всё сносил. К тому времени узнал Иринарх, что супруга его дурную болезнь приобрела и на себя руки наложила. Тут уж он принял ангельский чин. А паренек его в тот же день, прости меня, Господи, в алтаре (страшно вымолвить!) на престол... да бежал. Так и скрылся.

Монастырек тот был совсем убогий, заштатный, упразднили его, а монахов разослали по другим обителям. Как случилось, не знаю — попал Иринарх в одну знаменитую пустынь. Очень славилась та пустынь своими старцами. Народ туда валом валил. А монастырь, понятно, от этого богател. Иринарх поначалу был монашек незаметный, но на подвиг пошел великий — взял обет молчания. Уже тогда такое в диво было, подвижники такие. Монах-то другой пошел, — и Иринарх многих удивлял. Десять лет молчал, кули с мукой в хлебне ворочал, книги читал да молился. А уж народ богомольный его приметил, стал к нему льнуть. После новых десяти лет принял Иринарх схиму и был признан старцем. Тут уж совсем его

слава по Руси разошлась. Народ к нему валит, большие люди ездят, князья да ученые.

Вот раз выходит он к народу, благословляет всех, бабы, как водится, плачут от умиления, люди крестятся, тут вдруг подскакивает к нему молодец в чуйке и — раз-раз! — по морде! Кричит: «А вот как я тебя благословляю!» В толпе крик, ужас, все бросились убить богохульника, а старец раскинул руки и говорит: «Оставьте его, он прав!» А это чужой сын его был... Ох, ребята, совсем в горле пересохло...

Да... Взял старец молодца за руку и ввел в свою келью. Тот ухмыляется, собой доволен. «Деньги, говорит, давай!» Показал старец ему свое имущество — ничегошеньки у него нет. Тот вовсе озлился, кричит на старца, за грудки хватает, а старец пал на колени: «Прости меня, сынок!» У кельи люди шумят, беспокоятся за старца, хотят войти. Тот злодей видит: взять нечего, махнул в окно и — бежать. Ну, тут уж урядника вызвали, схватили голубчика да в каторгу — давно его разыскивали.

После сего случая совсем старца за святого засчитали. К самой государыне императрице Александре Федоровне возили секретным образом. Надеялась она, что он сына ее болящего исцелит. Вишь, тоже мать. А Иринарх не одного болящего наложением рук исцелял. Что там во дворце было, — неведомо. Говорят, будто предсказал ей старец грядущее, а может, просто что не так сказал. Тогда-то появился при императрице Гришка Распутин; боялся он, что старец его осилит, да и царица, видно, старцем осталась недовольна, так что вскоре Иринарха перевели в другой монастырь.

Тут революция началась. То белые наступают, то красные, всё на святой Руси перепуталось. Только красные белых отогнали, мужики подня-

лись бунтовать. Послали против них карательные отряды, и вот так получилось, что одним отрядом командовал тот самый чужой сын. Прибыл он со своим отрядом в тот монастырь, где жил старец, и начал монахов расстреливать. Собрал начальник народ, сам сел на паперти храма, поставил рядом чудотворный образ Богородицы и велел монахов поочередно выводить. Как кто плюнет на честную икону, тому — воля, а нет — за углом в расход пускают. Были и такие, что отреклись, одни — потому что монашествовали лишь бы от армии спастись, другие — принять ложь во спасение. Но старики все полегли рядком за православную веру. Старца-то он приберег напоследок. «Ну вот, — говорит, — дорогой папаша, и встретились. Видишь, как мои друзья славно поработали, а уж тебя я сам убью! Вот здесь и убью, вставай к стенке!» Старец встает к стенке, а сын достает револьвер-маузер и в него целит. Тут вдруг чудо случилось. Откуда-то выбегает юноша, подросток такой долговязый, в белой рубахе, как на смерть одетый, заслоняет собой старца и кричит: «В меня стреляй, изверг!»

Да я уж вам в другой раз доскажу... Ну, ладно, стопочку приму. Только я, ребята, такой человек: что слышал, про то и говорю. Так что сами болтайте, а ко мне не посылайте. Коли хотите слушать, то слушайте... Тот, чужой-то сын, уж хотел вгорячах пальнуть, да одумался. Что-то такое его поразило. «Кто ты такой, — кричит, — что за него заступаешься?» «Отец он мне и всем нам отец!» — юноша отвечает. Чужого-то сына так и передернуло. «Застрелю обоих!» — кричит, но уже запал прошел. Велел их отвести в погреб, а сам стал думать, какую бы казнь им изобрести пострашнее. Всю ночь не спал, думал, так ничего и не придумал, всё мало ему казалось.

Утром, аж жёлтый весь от злости, велит доставить к себе старца. Приводят старца и мальчонку заодно. Смотрит изверг на отца и говорит: «Почему я ненавижу тебя больше всех людей на свете? Как думаешь?» «Потому, сын милый, что я тебе добро хотел сделать, да не сумел его сделать. О своем спасении думал, о твоём забывал. Прости меня, коли можешь». «Верно говоришь. Ты думал добро мне сделать, а зло сделал. Зачем ты меня, шлюхина сына, подобрал, вспоил, вскормил, зачем с собой водил? Чтобы все надо мной потешались, чтобы именем материнным попрекали? Ты-то спасался, в святые записался, а я, как собачонка, был каждому куску рад. Ты унижал меня своей добротой. Ты ни разу не прикрикнул на меня, ни разу не выдрал, а всё улыбался постненько! У-у, как я ненавижу твою улыбку! Ты всё постничал да умильные слова произносил, о любви и добре, а я зачат во зле, родился во зле и жил во зле! Я за мать тебя ненавижу. Что ты с матерью сделал, негодяй! Почему ты не спал с ней, почему сделал ее шлюхой, почему ты не стал моим отцом!! Не дрожи и не вздумай упасть на колени, как в прошлый раз. Теперь ты понял, почему я тебя ненавижу, почему я только о том и думал всю свою проклятую жизнь, как тебе отомстить. Потому я и монахов твоих перестрелял, что в каждом из них я убивал тебя! Ты возносился, я унижался и каждый день думал, как я отплачу. Час настал. Теперь мое время, крапивного семени, теперь уж я отыграюсь и за всё расплачусь! Ну, что молчишь? Что ты мне скажешь?» «Ничего, — отвечал старец, — ты прав, я — великий грешник, и нет мне прощения. За всё понесу страшный ответ перед Богом». «Грешник... перед Богом отвечу... а как ты передо мной ответишь за мои мучения, чем за них заплатишь?» «Ничем, сын мой милый. Благо-

словляю руку твою, смерть мне несущую. Убей меня, ты прав!» «Знаю, что ты смерти не боишься, что стар и так скоро умрешь, а мне надо так тебя казнить, чтобы ты испугался, чтобы ты в один миг почувствовал, что я столько лет испытывал!» «Страшнее часа Суда Божия ничего нет!» — отвечал старец. «Опять за Боженьку своего прячешься? Да нет никакого Бога!» «Нет, есть Бог, есть, и Он покарает тебя!» — вскрикнул тут юноша, о котором начальник было позабыл. «А, и ты здесь. Ты говоришь, старик, что ничего не боишься? А если я на твоих глазах убью его?» — и навел на юношу свой револьвер-маузер. И тогда старец заслонил собой юношу. Но не стал стрелять начальник, понял он, что если убьет старца, то тем всё и кончится, а ему надо его каждый день видеть, мучить и самому с ним мучиться. Вот как! Человек — существо странное, люди добрые, понять это трудно. Как в одной старой книге написано: «Человек есть существо злобное, над другими насмехаться любящее». Так и начальник, чужой-то сын, снова отложил казнь и велел обоих вернуть в погреб.

А ночью стрельба поднялась, опять война пошла. Сын-то чужой мужиков да монахов расстреливать умел, а воевать не очень. Бой разошелся нешуточный, большие силы бунтовщиков прут, вот-вот в монастырь ворвутся. Мечется чужой сын, как угорелый, по двору монастырскому, не знает, куда спрятаться. Один выход — к старцу в погреб. Отворил погребную дверь ключом и замкнулся с узниками. Трясется: «Спаси, отец, сын ведь я тебе. Не говори, что я здесь, не выдавай!» А сам в бочку от кислой капусты залез. Бунтовщики-то искали начальника, да не нашли, а когда добрались до погреба, старца с юношей выпустили, а погреб обыскивать не стали, не догадались,

что он спрятался у арестованных, а старец с юношей ничего им не сказали. Так люди говорили, а правда, нет ли, — не ведаю.

Потом-то тоже говорят, жил старец у патриарха Тихона. Да Тихона в могилу свели, а на старца начались гонения. Также говорят: чужой-то сын жив остался, большой пост занимает, непременно хочет разыскать старца. А старец-то сам в Москве, в схороне где-то таится, а где — неведомо. Ищет ему отомстить чужой сын, да пока не удаётся.

А чтоб со всей этой историей покончить, надо и легенду сюда приплести. Говорят, будто шёл старец мимо Сухаревой башни в полночен час, — днем-то он, вишь, не ходит, куда ему в схиме среди бела дня да толкучки, — подходит к нему некто черный и говорит: «Отче, ты последний подвижник русской земли, всех нас ты победил своей святостью, и мы, чернокнижники, вручаем тебе свою книгу». И отдал старцу ту книгу, что хранилась в башне-то. Вот что люди говорят, ну, известно, язык без костей, много всякого наговаривают. Наплел я вам три короба, а вы и уши развесили, как дети малые. Заболтался я чтой-то с вами, друзья хорошие, человек я такой, московский, говорливый, до выдумки гораздый, опять же начитался писателей старинных, разных басен наслушался, вот и сочиняю. Так вы бы меня не слушали; трепача сухаревского, не всё правда, что люди говорят, а язык-то — враг наш, до беды доведет. Так уж не обессудьте. Спасибо за компанию. Счастливо оставаться.

СКАЗ ТРЕТИЙ

ПРО АЛЁШУ, ЮНОШУ ЧИСТОГО, И МОСКОВСКУЮ БЛУДНИЦУ

Говорят, как электричество да трамвай изобрели, так сказам конец, — сказы-то, они при лучине или при свечке восковой хороши. Не берусь судить, милостивые государи-товарищи, а что слышал, про то буду говорить.

Эх, люблю в хорошей компании посидеть вот так, с чайком да водочкой, людей потешишь и сам в накладе не останешься. Люблю всякие хитро-сплетения ума, так чтоб всё непонятно было, а объяснилось просто. Невероятные обстоятельства почитаю, за ниточку одну чтобы взяться и, ткачу подобно, ткать полотно. Вот и я такую ниточку избираю и тяну ее, а что впереди получится — Бог ведает.

Слыхали вы что-нибудь, ребята, про московскую шлюху? Да не смейтесь, черти, всё у вас смех на уме. Шлюх в Москве, конечно, хватает, да где их мало? Но эта совсем особенная и знаменитая была. С большими людьми зналась, в винешампанском купалась, в шелка одевалась, на автомобиле каталась. Конечно, вслух-то ее так никто не называет, а все, напротив, млеют от восторга, от умиления глазки закрывают да сюсюкают возле: ах, позвольте ручку, ах, ах! А сами-то в уме иное думают. Ну, а мы люди простые, хитрить нам не к чему, всё равно нам от такой хитрости от ее сластей ничего не перепадет, вот и будем называть по правде, как меж мужиками положено.

Блудницей предполагаете называть московской? Оно бы тоже верно и литературно даже, да мы ведь — московские, охальники мы, нам, понимаете, с душком надо. Опять ржёте, ироды?!

Так вот живет блудница эта себе на казенной квартире во всяком довольстве и неге. Всего-то она в жизни перепробовала, мужиков повидала всяких, они на нее как мухи на мед льнут, понятное дело, да всё ей надоело, а красота увядает, личико приходится нежное кремами мазать да духами Коти брызгать. Вот и думает она, что делать? Хочется ей чего-то небывалого, бабе, ведь известно, всегда хочется чего-то несуразного, да не каждой дается, а у этой всё предоставлено к услугам. И вот услышала она от кухарки — они ведь, кухарки, все сплетницы, — что есть такой сапожник, некий Алёша, юноша чистоты и красоты необыкновенной, и странный такой: ни с кого денег не берет, а что ему дадут, за то благодарит. Это ее заинтересовало. Из молодых-то ныне кого найдешь, чтоб чистоту свою девственную хранил; «на кой ляд ее хранить», — нынешние-то думают. Потому что, милостивые граждане мои хорошие, живем скученно и блудно, не токмо соблазну поддаемся, но сами соблазна алчем. Не так-то раньше жили, тогда праведники были, берегли свою чистоту, а теперь где и поискать? Но вот всё ж нашелся такой Алёша...

Старца-то Иринарха помните? И отрока, что с ним был? Так вот он это и есть. Скрылись они от чужого сына в Москве нашей, растворились в людском море. Алёша, чтоб старца и себя пропитать, стал сапожничать, сапоги шить да подметки подбивать. В каморке-то сапожной в задней комнатёнке и хоронился старец, и мало кто про то знал. Но до поры всё. Предстояли им еще многие испытания великие.

Ну, а блудница та, она ничего этого не знает, садится в автомобиль и едет в ту каморку. Очень ей захотелось на чистого юношу взглянуть. Вошла в каморку и обомлела: стоит юноша и в самом деле чистый, со взглядом ясным, лицом открытым, волосы русые до плеч и бородка молодая, мягкая. Взглянула она и влюбилась до смерти в тот же миг. А Алёша голосом чистым, добрым спрашивает: «Чего изволите?» «Да вот, — смеется смешком игривым, — хочу у вас туфельки сшить», — и подол поднимает, ножку точеную выставляет, а сама всё на Алёшу косится. Тот стоит себе спокойно и никакого интереса к ней не проявляет. Закусила она губку нижнюю, а губа у нее, братцы мои, что мёд, что сахар, и говорит этак надменно: «Я сейчас спешу, а вы приходите ко мне на квартиру, мерку снять». Алёша говорит: «Я по домам не хожу, да и туфли фасонные шить не умею». «А я вас очень прошу», — говорит и уходит.

Вечером сидит она одна, всех поклонников разогнала, ждет. И входит Алёша. Она обрадовалась очень, так вся и встрепенулась. Алёша спокойно стоит, смотрит на нее, молчит. «Не испугался, пришел? А я уж и не ждала». «Я сапожник, я по делу пришел, хотя и знал, что не то у вас на уме, да пришел. Отец мне велел». «Ну, снимай мерку!» — смеется и ножку свою обнажает. Алёша не двигается. «Ну, чего ж ты встал? Проходи. Разве плохо у меня?» (А у нее, братцы, обстановочка в квартире особенная, всё мебель красного дерева, зеркала да картины разные с голыми девками, нимфами называются, этакая раскрасотища!) «Али я не хороша?» — и в зеркало себя оглядывает, фасонистое такое зеркало, из дворца великого князя. (А красоты она, братцы-друзья, писаной, внешностью ангелу подобна, ро-

сточку некрупного, костиста немного, кожа гладкая, грудь упругая, осанка гордая, лицо, братцы! — не опишешь, золотые волосы распущены, а одета в длинной такой розовой сорочке до пят, одни туфельки золоченые виднеются и щиколотки, братцы, что бабки у породистой лошадки, какие на ипподроме бегают — с ума свести может одним своим видом!) «Вы очень красивы», — учтиво говорит Алёша. «Нравлюсь я тебе? А хочешь во всей своей красе предстану? Что хочешь для тебя сделаю, потому что люблю тебя, как никого в жизни не любила». Алёша поклонился вежливо и к выходу направился. Она за ним, уж очень он ее своей неприступностью раззадорил. «Не уходи! — молит, — я с ума сойду, я руки на себя наложу, если ты вот так молча уйдешь. Я на всё готова, что хочешь проси — жизни моей, тела моего, душу мою — всё, всё! Хочешь, я для тебя в Бога буду верить, в монастырь уйду? Хочешь, рабой для тебя буду, прачкой, собакой твоей, ноги твои лизать буду!» Зарыдала и бросилась к ногам его, в прахе распростерлась, бьется и рыдает. Сердце у Алёши твердое, но доброе. Стал он ее поднимать, говорит участливо: «Сестра, сестра, Бог с тобой!» Она вся к нему прильнула, шепчет: «И правда — сестра? Нет, правда? Сестра!» Он ее немного от себя отстраняет, потому как женское естество даже инока поколебать может. «Отнеси меня на диван, я не могу...» Алёша ее довел до дивану, а диван мягкий такой, будто пухом набит, сядешь туда и утонешь в блаженстве, а уж если бабенка ядреная рядом — ни в сказке сказать, ни пером описать для грешного человека... Посадил ее Алёша, а сам стоит рядом, она его к себе тянет, он не трогается. «Иди... — она шепчет, — посиди со мной, поговорим...» Но Алёша как стоял, так и остался. «Скажи, почему ты назвал меня сест-

рой?» «Все мы дети Божьи, а друг дружке — братья и сестры». «А ты меня любишь?» «Да, Господь заповедал любить ближних». «Ах, этак-то что за любовь! А за красоту мою, за то, что я для тебя на всё готова?» «Да, и за это тоже». «Значит, больше, чем других?» «Не знаю». «Смешной ты какой-то... Да ты сядь, раздражает меня, когда рядом стоят». Алёша не двинулся, на женскую лесть не поддался. «Слушай, Иосиф мой прекрасный, ты говоришь, что ближних любишь, я знаю: «душу свою за други своя». А если женщина будет тонуть, ты бросишься ее спасать?» «Да, брошусь». «А если я тону, гибну от страсти к тебе и ниоткуда мне спасения как от тебя, тогда что?» «Сестра, разве в грехе спасение?» «Да, да! — крикнула, — в грехе!» — и с дивана вскочила. «А что если я из того, что ты мною пренебрегаешь, руки на себя наложу, если я на панель пойду, пьяная буду валяться?!» «Сестра, Господь с тобой, зачем ты себя мучаешь?» «Сестра! Я — ведь блядь московская! слышишь ты, святой младенец!» Алёша стоит бледный как полотно и трясется весь. «Вы, — говорит она, — все святые таковы: сами спасаетесь, а других в погибель толкаете! Тебе своя чистота дорога, ты ко мне, грязной, снизойти не хочешь. Все вы добренькие такие, вам лишь бы свою душу спасти, самим бы не запачкаться. «Душу свою за други своя!» Ближних любишь, а от женщин, как от твари пакостной, отрециваешься?! Ты не отворачивайся, ты на меня посмотри!» И сорочку свою, пеньюар, сбросила и во всей своей красоте сладостной предстала. «Что, или не хороша? — спрашивает. — Чего ж молчишь? Я тварь, я дрянь, ну, ударь меня!.. Брезгуешь? Так я тебя ударю!» Подбегает к нему и видит: стоит Алёша как столб, глаза закрыты, из-под век слезы бегут. Она как

вскрикнет, на шею ему бросилась, поцелуями ему слезы осушает. «Прости, прости!» — шепчет.

И тут-то, братцы мои, дверь отворяется и входит — кто бы вы думали? — чужой сын!.. Вот спасибо, молодец, догадался. Знаешь мой обычай. Здоровье ваше, слушатели почтенные!.. Да... не кто иной, как чужой сын входит! Она-то у него на содержании состояла. У того, понятно, зенки вылупились: баба голая монаха целует! «Вот это да! — говорит, — то ты с актерами да жокеями спала, так я терпел, а теперь до монахов дошла. А это кто? А-а, знакомая, — говорит, — личность! Вот где привелось встретиться. Хороши же монахи пошли, с блядьми обнимаются. А ну, — говорит, — вон отсюда и чтоб твоей ноги не бывало! А с тобой я еще поговорю!» «Не смей так ее называть!» — это Алёша-то. «Тоже мне заступник нашлся! Может, ты ее с собой возьмешь?» «Да, возьму». «Милый, правда?» — она-то кричит и плачет. «Может, ты на ней и женишься?» — насмехается чужой сын. «Всё сделаю, что Богу угодно». «Ну, — говорит, — тогда проваливайте к такой-растакой матери! Так и веди ее, в чем мать родила, ейного добра тут ничего нет». А сам потешается, уж больно ему смешно, как голая баба через весь город пойдет. Алёша подрясник снял и на нее надел, а сам остался в рубашке нательной и штанах. И пошли они. А чужой-то сын им вслед кричит: «Папаше-то любимому кланяйтесь. Передайте, что как только закончу дело с очередной контрой, до него доберусь!» А потом позвонил по телефон-аппарату своему оборотистому прислужнику, чтоб он ему новую бабу предоставил.

На счастье, уж темно было, и дошли они без всяких помех. Она-то всё к руке его льнула и смеялась всю дорогу. Так они к старцу пришли.

А тот их словно и ждал. Веселый такой: «Ах, детки мои, голубятки! Был у меня один сын духовный, вот Бог и дочку послал! Звать-то тебя как?» «Мария...» — и счастливая такая, всё на Алёшу смотрит — не насмотрится. «Хорошее имячко. Знаю тебя, Мария, кем ты была, знаю. И Алёшу я к тебе послал. Большое испытание он вынес и Божью волю исполнил. Сын он мне и грех мой искупил. Я Божью душу к греху толкнул, он заблудшую душу к Богу привел. То-то хорошо, то-то ангелы на небе радуются! Видишь, дочь моя, что на тебе надето? Монашеское одеяние. Монашка ты отныне и впредь!» «Как монашка? — она пугается — А он на мне жениться обещал, жить со мной хотел!» «Монашка ты. Исстари так считается: кто монашеское одеяние на себя надевает, тот и монах. Монахи вы оба и жить плотским образом вам невозможно!» «Как же так?» — она говорит и на Алёшу смотрит. «Любишь ли ты его, дочь моя?» — старец спрашивает. «Люблю». «Истинно ли любишь?» «Больше всего на свете его люблю!» «Так знай, Мария, что та любовь высшая, которая души в Боге соединяет. А ты, Алёша, любишь ли Марию?» «Так, отче!» «Ну что ж, дети, саном своим повенчаю я вас тайным духовным браком». И возложил на них руки и повенчал духовным браком.

Что это такое? Духовный брак по нынешним временам вещь странная и вовсе невозможная, а в прежние времена очень часто встречаемая. Первые-то христиане частенько жили в духовном браке. Таинство это высокое и нашему грешному уму неподсудное. Жили люди, как брат с сестрой, и только душами сливались в любви к Господу. Чудно́ это на современный взгляд, она и вера-то Христова тоже по-нашему весьма чудна́я, но уж это сказ другой...

Чего приуныли, молодцы? И рожи такие кислые. Не того конца ждали? Заваривал кашу масляно, а кончил совсем постненько. Вам бы всё потеху, да помаслянистей, как мужик бабу обжимал да какие коленца с ней выделывал. Я и сам, грешник, люблю про женский пол, про клюкву эту ягодку рассказать. Потому что все мы с вами — тайные сладострастники. Черная похоть в нас велика. И оттого стремимся мы одолеть ее, к чистоте совершенной стремимся, к духовности высокой. Ну, да вам это не понять, вам другое надо... А вот есть ведь духовный брак! Потому как любовь горняя есть на белом свете. Не знаем мы ее, братцы-соколики, любви этой, во тьме и грехе обретаемся, нам одно — чтоб к бабе в тепло приткнуться, а что вот душой любить можно еще сладостней, этого уж никак не объяснишь. Потому как, говорю, про Бога мы накрепко забыли, а без Бога какой же духовный брак? Смехота вам одна. Эх, не задался, видно, сегодня сказ! И к чему его затеял, сам не знаю. Да, видно, надо — авось впереди понадобится. Ну, хрен с вами, румяные калачи, смейтесь себе на здоровье, а я пошел. Спасибо за компанию. Счастливо оставаться.

СКАЗ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРО ЛОВКОГО ЧЕКИСТА

Люди-то вы хорошие, да и я не плохой, а честную компанию почему не потешить? Только шутки-то все боком выходят. Сами знаете — не всяк шуток любит, а я такой человек, московский, шутливый, сегодня сказал, завтра забыл, уж не сетуйте на меня. А то ходил тут один рязанский, слушал так пристально... Ну, да Бог с ним, мало ль кто ходит...

Всё про Черную книгу хотите услышать? Что с вами поделаться. Далась всем эта Черная книга, вся Москва о ней говорит, в трамвае только и разговору. Смеются все, а промеж себя иные думают: ох, не к добру вся эта молва, вспомните мое слово. И вовсе странные слухи по Москве идут, передавать али нет, не знаю — бóязно. Разве что шкалик принять для храбрости. Ну, спаси Христос...

Да... так вот, говорят, что Чека в это дело вмешалась. Почему же они-то так ищут Черную книгу? Или власть их не прочна? Ничего вам на это не отвечу, чтобы не попасть куда не следует. А вот что мне известно доподлинно. Чужой-то сын в Чеке работает, а старец-то тут же, в Москве, в схороне. Знают его верующие люди, ходят к нему на поклон, и он всех благословляет. Рада Церковь, что есть у нее такой угодник, и все русские люди рады. Святые-то подвижники ой как нам нужны, чтобы мы мерзость свою понимали и о Боге думали. Ну, да это песнь другая.

Прознал, значит, чужой-то сын, что старец в Москве укрывается и Черная книга будто у него (слышали легенду, будто неведомый колдун отдал сию книгу старцу, да басня это, совсем не так было, мы-то знаем, а они доверились). Думает, что сделать, как бы ему старца изловить и злость свою утолить. А слух-то про книгу тем временем далеко зашел, дошел до самого высокого начальства, такого высокого, что и назвать нельзя. И вот вызывает высокий начальник, такой высокий, что и назвать нельзя, сына того чужого к себе, расправляет свои усы и говорит: «Узнал я, что существует такая Черная книга. Очень она меня интересует. Приказываю вам ту книгу найти и мне доставить без промедлений». «Так точно, — сын-то чужой отвечает, — есть такая книга и по имеющимся сведениям находится у ярой контры старца Иринарха». Начальство отдает приказ: «Старца того арестовать, святые нам не нужны, а книгу изъять». Тогда чужой сын вызывает к себе самого ловкого чекиста и приказывает: «Чтоб старца ко мне в кабинет доставить, а книгу найти немедля. исполнишь — дам тебе орден и золотые часы Буре старой работы, а нет — как в сказке: мой меч — твоя голова с плеч». А сам, чужой-то сын, думает: мне бы только книгу в руки, враз я таким большим начальником стану, заместо того, кого и назвать страшно. Как же! Стану я, мол, ему книгу отдавать! Я сам могу все заклинания произвесть и взять власть над всеми мирами. Вот что задумал. А самый-то высокий разглаживает усы и тоже думает: «Мне бы только книгу, тут уж я воссяду прочно, а тому, кто мне ее принесет, ему смерть определяю».

А чекист-то ловкий, которому розыск поручен, и не знает, бедный, что делать, куда податься. Так и так ему беда выходит: найдет книгу — пло-

хо, не найдет — еще хуже. Стал он тереться там и тут, слушать да вынюхивать... среди вас-то его, ребята, нету?.. Да... Так вот: туда-сюда толкается, нет нигде следов старца, никто не знает, а кто знает, не рассказывает. Толкся он так, толкся и краем уха уловил, что есть в Марьиной Роще такая ворожея, которая всё знает и всё насквозь видит. Он мигом прыгает в трамвай и — к ней: так, мол, и так, помогай, бабка! Сколь хошь заплачу! «Да тебе кто нужен-то? — старая карга спрашивает. — Книга али старец? Если книга, то я тебе не помощник, страшное заклятие на ней, и мы, колдуны, его переступить не вольны. А про старца скажу, где он сидит. Переспи со мной ночку, мóлодец, тогда и узнаешь». Чекиста-то ловкого чуть наизнанку не вывернуло от такого, прости Господи, предложения. А бабка-то, карга старая, говорит: «Да ты не бойся, мóлодец, ты еще такой красотищи не видывал!» Топнула ногой, вокруг себя обернулась и предстала дéвицей прекрасной и как есть, братцы, голой: груди налиты, ноги, братцы, что у статуи, а уж всё остальное — уму помрачение, руки свои нежные к мóлодцу протягивает... Чего ржёте, дьяволы, рассказываю вам, что сам слышал, а хошь верь, хошь нет, ваше дело. Мóлодец с ней мигом управился, и налюбился уж всласть. Кто бы на его месте отказался? А просыпается — лежит рядом старуха мерзкая, смерти костлявой страшнее, до того страховита — ужас! Тут он вскочил в беспомысленстве, схватил штаны-галифе, куртку кожаную да револьвер-маузер — и к двери, да вспомнил свое задание, кричит с порога: «Рассказывай, чертовка, где старец укрывается!» Она ему и сказала, как обещано было.

А укрывался старец вместе с Алёшей, как вы знаете, в сапожной каморке. Вот чекист врывается в ту каморку, а Алёша ему вход к старцу загоро-

дил. Чекист за револьвер, кричит: «Прочь с дороги, не то застрелю!» Алёша не пускает. Чекист уж стрелять готов, как слышит голос старца: «Пусти его, Алёша, да свершится воля Божья». Алёша старцевых слов послушаться не мог. Врывается чекист в старцеву комнатку-келейку... Ох нет, братцы, заболтался я с вами, в другой раз как-нибудь доскажу... Нет уж... водочки... да разве что... Ну ладно, с ней живем, с ней и помрем. А пока — будем живы, ваше здоровье!

Так вот. Врывается ловкий чекист к старцу с револьвером и кричит: «Давай книгу...», хотел добавить «старый хрен», да осекся. Видит — встает ему навстречу старец как лунь белый, с бородой как у святителя, в схиму черную одетый с черепами и крестами, как с иконы сшедший. «Зачем тебе книга, человече?» — спрашивает. Чекист малость оправился, говорит так сурово: «Приказано вас арестовать, а книгу изъять». «Ну что ж, — отвечает старец, — я готов, а книгу, какую вам надо, возьмите». «Мне Черную книгу надо». «Они у меня все черные от ветхости». Видит чекист — лежит книга в черном кожаном переплете. Он ее забрал, а сам думает: книга у меня, а на кой хрен мне старец сдался, как его в такой одежде через город поведешь? Надо бы конвой вызвать, да ладно, главное дело — книга у меня и вся власть у меня, а уж со старцем потом, куда он такой дряхлый денется? «Ладно, — говорит, — вы арестованы, сидите и ждите, пока за вами придут, а если за порог выйдете, сейчас застрелю!»

Так он им пригрозил, а сам — бегом в укромный уголок, залез на Сухареву башню, устроился в удобном месте и начал книгу листать. Думал он, что теперь, как книга у него, так и вся власть у него и могущество, и сейчас он станет наиглавнейшим начальником и тогда уж со всеми посчитает-

ся. Раскрыл книгу, попробовал читать — буквы вроде похожие и слова тоже, а смысл неясен. Стал разбирать подробнее и прочел: «Господи помилуй!»

Тут он сообразил, что не та это книга, не Черная, бежит с нею к старцу и прямо дрожит от ярости. «Обманываешь, контра? Я тебе про какую книгу говорил, а ты мне что подсунул?» И книгу ту кинул. Алёша ее бережно поднял. «А чем же эта книга плоха?» — старец спрашивает и смотрит весело, улыбается даже. «Ты мне не прикидывайся, сам знаешь, какая мне книга нужна». «Какая же?» «Черная книга, которую ты скрываешь!» Тут старцу совсем весело стало. «Что же это за книга такая?» — спрашивает. «Сам, небось, знаешь. Книга, которая власть дает над мирами». Старец смеется тоненько. «А чем же, — говорит, — плоха та книга, которую вы взяли?» «Ты брось крутить, старик! — чекист-то кричит. — Не понимаю я, что ли? В этой книге вредная поповская агитация!» «Божья эта книга, — говорит старец, — и слово Божье имеет наивысшую власть над миром. Слову Божьему мир покоряется». «Ты мне здесь агитации не разводи! — это чекист-то, — а давай мне Черную книгу!» «У меня книги только светлые, Божьи книги, а вы требуете книгу Люциферову, — тут старец положил на себя крестное знамение от лукавого, — такой книги не может быть у смиренного схимника. Не здесь вам ее искать следует». «Отойди в сторону, — чекист говорит, — я сам посмотрю». Обшарил всю келейку — ничего не нашел, да и что могло у святого старца быть? «Может, — спрашивает чекист, — ты эту книгу где прячешь? Смотри, лучше правду говори!» «Нигде я ничего не прячу, а живу вот здесь у добрых людей из милости». «Ладно, — говорит чекист, — в Чеке

разберемся, там ты запоешь по-другому, там у нас все сознаются. Пошли, — говорит, — контра!»

Повел их всё же, со злости, не подумал как следует, решил, мол, ничего, доведу их до Сухаревки, там милиция есть, извозчики, посажу их на пролётку и доставлю куда положено. Только он их в переулочек вывел, увидела какая-то бабка да как закричит: «Батюшка Иринарх! Батюшку Иринарха ведут!» И как-то сразу весь переулок наполнился разным людом. Чекист кричит: «Граждане, разойдитесь! Стрелять буду!» — а сам робеет. А толпа всё прибывает. Бабки, тётки голосят, рыдают: «Батюшка ты наш, голубчик!» — и все под ноги лезут, норовят старцу край схимы поцеловать. Такая теснота сделалась, что непонятно, кто кого ведет, напирает толпа со всех сторон, все бока чекисту обмяли, уж он кричит, стрелять всё грозит, а куда стрелять? Такое тут идет, куча-мала! Вывалилась толпа из переулка на Сухаревку, все кричат: «Иринарх! Иринарх!» Торговлю бросили, бегут на святого человека взглянуть. Затор полный: трамваи, автомобили, извозчики — все встали, толпа бурлит. Ходынка настоящая. Жулики тоже время не теряют, все карманы обшарили. Ловок был чекист, а тут просчитался. Как ни ловчил он, толпа его от старца враз оттерла, бросился он, да зацепился за что-то, упал, и по нему сотня ног погуляла. Вскочил озверелый, хватать за револьвер — нету револьвера! спёрли в толкучке. Он орёт, голосит, на помощь зовет — никто в шуме не слышит. Пока толпа разошлась, старец с юношей исчезли. Чекист туда-сюда бегаёт, всех спрашивает — никто не знает. Видели их в последний раз у Сухаревой башни, а дальше след пропал. Уж он всю башню обрыскал — нету! Как на глаза начальству явишься? Приказа не выполнил, старца упустил, книгу не нашёл, да вдобавок казенный

револьвер спёрли! Ходил-ходил возле башни ошалелый до самого позднего часа, а в темноте нашел веревку, выбрал крюк под аркой: «Прощай, — говорит, — моя забубённая головушка!» И удавился самым ловким образом.

Ясное дело, сказки всё это, пересмешина, никакой такой давки у Сухаревой башни не было, у нас на Сухаревке смятение бывает разве когда жулика ловят, а так — ничего особенного, и на башне никто не давился, придумано всё это, но уж легенда-то больно соблазнительна, а? Она, мол, Сухарева башня, чудесная, вот что возле нее бывает... А где старец с юношей обретаются, доподлинно нам неведомо. Одни говорят — в Москве они, другие передают, будто ночью остановилась возле сапожной каморки крытая цыганская фура и в ней увезли старца верные люди. Цыгане за золото кого хошь увезут. Куда увезли? Может, в сырые леса карельские, может, в непрохожие дебри сибирские... Что люди говорят, то я вам передаю, а сам ничего не знаю. Одно мне ведомо: есть такой святой старец и есть его чужой сын, и ненавидит он старца лютой злостью и будет ненавидеть до скончания века.

А вы уши развесили, сказки слушаете? И то сказать, может, оно всё — сказка, и жизнь наша — сказка, смерть — развязка, гроб — коляска, и ехать — не тряско. Задумаешься иной раз, и дивно: чего это человек сочиняет, всё придумывает, да такое, что самому бóязно. Нет, чтобы жить спокойно. Всё бы просто — живи и живи себе, а нет — всё чудесного хочется. И чего ради, объясните вы мне, граждане мои, друзья веселые! Не знаете? Вот и я не знаю. Живем всяко, язык свой чешем, а умрём — меньше врем. Вот и я — человек наипомалейший, муравью подобный, а всякую всячину вестовать горазд, московский, одним словом, чело-

век, говорливый, книжный, старинный, как город наш. Опять заболтался с вами, а давал себе зарок, знаю, до беды недалеко, но, опять же, подумайте, если не я, то кто вам всё, что слышали, складно расскажет, не Сухарева же башня? С тем и прощайте. Спасибо за компанию. Счастливо оставаться.

СКАЗ ПЯТЫЙ

ПРО МОСКОВСКОГО БЕСА

Всё-то вы мне верили, друзья веселые, граждане московские, а ныне такое совру, что и не поверите. Про московского беса. (А почему бесу не быть в нашем повествовании? Святой у нас есть, и бес должен быть.) Что за бес — узнаете, а пока — про всё бесовское войнство и духа зла.

Вот вы-то, милостивые граждане, почтенные товарищи, в чертей, небось, не верите и еще смелесь надо мной, стариком. А меж тем, мы, люди московские, с чертями давно переведываемся, и есть у нас среди них знакомых множество. Потому что осаждают нас со всех сторон сила неисчислимая, имя же ей — легион. Бесы-то, они в нас сидят и нами руководят. Во всех помыслах и хотениях нас бес одолевает. Множество их, бесов. Есть бес умственный, сиречь мечтательности, есть бес гордыни, сиречь славолюбия, есть бес стяжания, сиречь сребролюбия, а самый злой бес и самый коварный, из всего войнства наипугливый — бес блудный, сиречь сластолюбия. В западном мире целая наука разработана, демонологией рекомая, всем бесам там имена дадены, ну а мы, русские, без наук бесов определяем, на глазок. И скажу я вам, граждане хорошие, что не токмо с сим войнством брань не ведем, но сами себя добровольно отдаем в полон и всю свою многогрешную жизнь в бесовском море купаемся.

Скажете вы мне: что ж, мол, как это так нас бесы одолевают, когда мы их не зрим?

Отвечу: тем-то и силен князь мира сего, что имеет облик незримый, а власть наивысшую, столь великую, что не токмо мы, грешные, но и наисвятейшие угодники не могли от его происков убе-речься.

А Бог-то на что смотрит, спросите?

Отвечу: так наш несовершенный мир устроен, рядом с Богом соприсутствует дух зла, диавол, и наречено ему, искустителю, быть врагом рода человеческого и враждовать за сердце человеческое, но победа всегда за Богом. Заметьте себе, товарищи-сударики: за сердце человеческое идет борьба! Вот он чего, диавол-то, хочет — он тебя и властью и умом наделит, только полюби ты его! Мало того, чтоб род человеческий ему поклонился (и так уж клонимся!), нет, надо, чтоб его возлюбили. И вот не выходит у него с этим ничего! Чует человек, что есть Бог и есть Любовь совершенная, а что диавол и бесы искушения, в сколь ни соблазнительных обличиях являются, а внутри мерзки. Но силен князь мира сего, и знаем мы от Иоанна Апостола, что будут времена последние, когда придут лже-пророки и явится антихрист, и возлюбят люди его и ему отдадут свое сердце. И тут-то, братцы, видя такое неустройство, вмешивается Сам Господь Бог, и настанут дни Страшного Суда, и каждому будет вбздано по делам его, и преобразится весь наш несовершенный мир, и станут новая земля и новое небо.

Но заболтался я совсем и в сторону ушел. Стал говорить про беса зримого и незримого, а дошел до антихриста, тьфу на него! Прости меня, Господи! Бес он, братцы мои, незрим и формы собственной не имеет, а имеет одну злобную сущность. Самого беса как духа зла никто не видал, но его воплощения видели многие, да и мы сами видели, только,

что бес это, — не подозревали. Известно ведь, как бесы святого Антония обольщали — голыми бабами прикидывались. На что Антония — самого Господа Христа в пустыне диавол искушал! А в старину видеть беса в образе хвостатого чёрта с рогами удавалось многим — форма у него такая была. Понятно, тогда вера была крепче, и чуял человек греховные сети обольстителя. Не то что видели, а иные беседовали с бесами и бранью переведывались.

Знаем мы про Иоанна, архиепископа Новгородского, иже победи беса и летай на нём в Иерусалим. Писатель наш великий, Гоголь Николай Васильевич, которому памятник на бульваре поставлен, любил про беса вспомнить. Другой сочинитель наш знаменитый, Достоевский Федор Михайлович, преудивительный роман о бесах написал, разговор с чёртом сумел изобразить. Философ наш любимый, Соловьев Владимир Сергеевич, многократно в жизни чертей лицезрел и даже чертям соизволил стишки посвятить, про антихриста предрёк глубины таинственные. Потому как от глубины внутреннего взора всё зависит. Видеть беса дано немногим, а испытывать его искушения — всем.

И вот какое дело, братцы-товарищи разлюбезные, велико бесовское воинство, и есть в нём бес особенный, назову его московским бесом. летописные предания о нем скудны, но частенько он появляется в разных исторических моментах. То в царя Грозного вселится, кровь невинную льет (Филипп-то, наш святитель московский, разглядел того беса и заклиал его, да Малюта Скуратов, бесов выкормыш, удавил страдальца), то Гришку Отрепьева подобьет на дерзостное самозванство, и было от этого беса московским людям вечное нестройство.

Ведь вот какой наш город Москва: так посмотришь — вроде город как город, а этак приглядишься — словно бес в ней бесится. И, странно помыслить, ребятушки, развелось ноне по всей Москве этих бесов и бесиков превеликое множество. Так они и мельтешат в глазах, так и мельтешат.

Иду третьего дни мимо одного учреждения, которое и назвать-то страшно, гляжу — выходит сам этот ихний главный трепач, в пенсне, с бородкой клинушкой, — и к машине. Открывает дверцу и говорит кому-то незримому: «Садитесь, пожалуйста!», и вроде бы кто-то туда — шмыг! Потом сам садится, а дверца чудом на весу держится, и кто-то второй незримый за ним следом — шмыг! и хлопнула дверца, покати он в свой Совнарком, а с ним два обязательных чёрта. Вишь, я давно слышал, что при нем два беса состоят.

Ну да что, братцы, всё бесы да бесы, надоели они мне, пойду-ка я лучше от греха, а то такое соврешь, что и сам не рад будешь; про беса-то московского не зря поминаю — велико его воинство и промеж нас трется, да и среди вас, друзья веселые, не все лица мне знакомы... Разве что водочки для храбрости... ох, хороша, зараза! крепка, как воинство бесовское... ну, да мы его одолеем... Ваше здоровье, мои любезные!

Да... о чем, бысть, речь шла? О московском бесе? Так вот. Садится тот большой начальник в автомобиль и едет с двумя бесами в свое главное учреждение на заседание, а на том заседании решаться предстоит, кому наиглавнейшему быть. Едет и радуется: два беса с ним, всегда помогут, и бесы веселятся, его морду своими мохнатыми лапками гладят: «Не сомневайся, — говорят бесы, — быть тебе наиглавнейшим».

Но московский наш бес тоже не дремлет и измышляет, как бы напакостить поосновательнее.

«Гришку, — думает, — сейчас бы, эх, и устроил бы я суматоху!» Стал бес присматриваться к большим людям, соображать: и этот хорош, и этот неплох, ко всем в душу слазил и нашел-таки одного: самого среди них замухрышистого — плюгавый, рябой да косорукий, — но злобы и гордыни в нем, что у царя Навуходносора; хоть собой неказист, да усомпушист. Возликовал московский бес, шмыг в трубу и, минуя всех охранников-чекистов, прямо к этому человеку явился. «Знаю, говорит, твои тайные помыслы и целиком их одобряю. Едет сейчас в автомобиле твой супротивник, а с ним два чёрта. Времени у нас нисколько, давай сразу уговариваться. Ты мне, как водится, — душу, а сам проси, что хочешь». «Власти хочу, страшной и грозной, больше, чем у царя Иоанна было. Быть мне на Руси набольшим!» «Будешь. Есть такая Черная книга в Сухаревой башне, твои чекисты не могли ее добыть, я добуду, и будет власть твоя отныне и долго». «А сколь долго?» — спрашивает. «Жить ты будешь семьдесят лет и три года. Потом умрешь смертью непостыдной. Плакаться тебя будут три года, а потом — извини...» «Ну, — говорит, — мне и этого много-предостаточно». «Давай договор заключать. Кровью расписываться некогда, а ты унизься до последнего скотства — и дело с концом». Тому делать нечего, видит — чёрт не шутит, а автомобиль с его супротивником и двумя его бесами к самому крыльцу подкатил. Взял и приложился. А чёрт ему — прямо в нос, и наполнил всю его утробу бесовским смрадом. Был он замухрышистый и человек никудышный, а тут преобразился от духа бесовского, смрадного, неистовым огнем взгляд вспыхнул, осанка царственная проступила и твердость характера окрепла. Встал он с колен, вытер усы и смело пошел навстречу своему супротивнику.

А московский бес видит двух чертей супротивника и говорит им: «Здравствуйте, господа добрые! Как поживать изволите?» «Да плохи дела, совсем плохи...» «Давненько не видались, поговорить бы надо». «Ах, мы спешим, в другой раз с удовольствием...» — черти-то рассыпаются. «Эх вы, — наш бес говорит, — знаю, с чем пришли, да и я не прост. Давай силой мериться. Чья возьмет, того и победа». «Ладно, — говорит один из них, — только чтоб не больно было». «Совсем не больно, — отвечает московский. — Будем хвосты мерить: чей хвост длиннее, тот и выиграл. Сначала вы промах себя смерти, а потом чей хвост длиннее, со мной будет состязаться. Вынайте хвосты, а я рассужу». На это черти согласились, вынули хвосты, а бес московский — не будь дурак — взял и связал их хвосты троекратным узлом, плюнул на узел с заклинанием и срослись хвосты их крысиные.

Завопили черти: «Обманул ты нас! Отпусти, что угодно сделаем!» «Нет, — говорит, — теперь шабаш!» Мухой обернулся, в комнату сквозь замочную скважину влетел, к своему другу сел на ухо и всему его научил, что говорить. А два-то оставшихся беса вот хвосты распутывают, дергают в разные стороны, кричат, как поросята резаные, друг дружку колотят, а ничего сделать не могут; потом додумались, сели под трамвай, он им вмиг хвосты оттяпал, света белого черти не взвидели и понеслись в свою преисподнюю, там свои культяпки в кипящую серу опустили — сидят, лечатся. А их покровитель вышел с заседания невеселый — разгромил его недруг с помощью московского беса. Но еще не сдаётся и думает: «Ничего, вот у моих чертей культяпки заживут, тогда посмотрим, кто кого!» А московский бес тоже не дремлет...

Вот спасибо тебе, догадливый, а то совсем в горле пересохло... Расскажу, расскажу еще про беса, мне самому его проделки интересны, уж больно ловок, проклятый! Да... не дремлет наш враг, московский бес — очень ему Черная книга нужна, чтоб своему другу власть над миром предоставить. Знает он, где она в Сухаревой башне лежит, да взять своими поганьими лапами не может — заклята книга та и может взять ее только великий праведник. Вот и отправился по первоначальному московский бес к старцу Иринарху.

Понятно, к святому старцу просто так чёрт явиться не может, но он-то хитёр! Взял и скинулся православным попом, без креста только. Под камилавкой рогов не видно, а хвост рясой скрыт, а чтоб меньше серой пахло, вылил на себя целый пузырек духов Котí. И вот такой раздушенный, красивый, чернобровый (все бабы, на него глядя, млели, пока шел по улице, а старушки под благословение подходили, да он им фигу совал) и заявился бес к старцу Иринарху.

«Радуйся, говорит, честной старец!» «И ты, честной иерей!» — старец отвечает. Возликовал бес, что его за честного попа приняли, садится на указанное место, заводит сладкоречивый разговор. «Как же это так, — говорит, — благочестивый старец, что живете вы в затворе и сколь прискорбно, мол, что такой светильник веры скрыт от чающих живой воды учительского слова».

«Ошибаетесь, — отвечает старец и всё гостя разглядывает, — я — великий грешник и не способен нести утешение». А бес разливается соловьем, говорит по-ученому, нипочем не угадаешь, кто такой. «Да, — говорит, — тяжелые времена переживает русская Церковь, мало в ней осталось праведников и подвижников. Одни на Соловках, дру-

гие продались большевикам. Вы один, отче, достойны быть пастырем русской церкви».

«Странно сие слышать, — говорит старец. — Да кто вы такой?» «Я, — отвечает бес, — из церковного управления. Высокие иерархи рассудили, что после кончины святейшего Тихона нет в русской Церкви более достойного избранника на сан патриарха всея Руси, чем вы, отче».

Улыбнулся старец и стал читать из Евангелия: «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если падши поклонишься мне». «Не надо, — вдруг бес как запищит, — знаю...» А старец продолжает: «Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тут бес, видя, что разоблачен, окончательно сник.

Алёша тем временем в комнатку вошел и видит: корчится в углу кто-то невыразимо мерзкий. Сотворил Алёша крестное знамение, и в келейке сразу серой запахло. «Не гоните, — бес-то кричит, — помилосердствуйте, святые люди! Давайте сговоримся! Быть тебе, старец, патриархом, быть тебе, Алёша, у сердца его в любви и чести. И немного прошу — со мной пойти и взять в Сухаревой башне Черную книгу. Пусть хоть Алёша со мной сходит, я и место знаю, тута и вовсе рядом». «На что тебе сия книга, бес?» «В ней вся тайна власти над миром». «Или мало власти вашему бесовскому воинству?» «Мало, мало, честной отец! Чем больше власти, тем больше ее хочется». «И мало тебе власти над миром сим и хочешь ты купить власть над святой Церковью, Телом Христовым?» «Книгу мне надо, старче, всего лишь книгу. Очень она мне нужна, а взять не могу — заклятье на ней такое дурачье, зарок такой —

только праведный человек может ее взять. А кроме тебя, кто ж праведнее? — все в миру жили, а ты вне мира, оттого и чист, тебе и книгу взять». «И смел ты подумать, бес, что монаха славой мира сего прельстишь?»

«Ах, — отвечает бес, — я о вас очень высоко-го мнения. Но подумайте, святые люди, так ли уж вам бес бесполезен? Вспомните-ка, кто́ на бесе в Иерусалим летал? Видите, как-никак, а бес поль-зу принес и святому делу послужил. Ну, а что ны-не никто из ваших с нами дела не имеет, в это то-же не поверю. Иерархи ваши — сколько из них нам душу продали? Иные-то в простоте думают, что Богу служат, а на деле — нам! Так что ты, стар-че, не артачься! Не скрою от тебя: книгу эту от-дам самому главному, а он тебя сделает патриар-хом. А патриархом быть — что царём! Куды там — еще выше! Так-то славно: на Троицу пройдешь из храма Сергия под руки келейниками ведомый, в зеленой ризе, под ноги тебе алый ковер рассти-лают, цветами путь осыпают — куда лучше! Все-то тебе кланяются, всех-то ты благословляешь и для ближних можешь сделать доброе дело. Ведь куды лучше, ежели патриархом будет достойный человек, чем недостойный? Нужен ты, старче, рус-ской Церкви, не то совсем подпадет она безбож-ной власти!»

«Древлен ты, бес, а так-то глуп!» — смеется старец. А бес-то и не думает обижаться, перехо-дит на Алёшу:

«Может, ты, Алёшенька, согласишься? Меня твой старец дураком засчитал, да не обижаюсь я, привык, что меня, беса, все шпыняют, а без меня тоже обойтись не могут. Очень я тебя люблю, Алё-шенька! Жалко мне тебя прямо до слез: надел ты монашескую рясу, принял духовный постриг, по-настоящему-то никто тебя в монахи не стриг, сам

себя наказал, жизни лишил и всех ее радостей, да еще девицу на бесплотный путь совратил. Знаю, Богу хочешь послужить, да разве Богу нужно умерщвление плоти? Легче Ему, сидящему на престоле, от этого? Бесплодна жертва-то. А все потому, юноша, что книг-то ты новых не читал, сидел взаперти. Плоть — она святая! — вот как нынешние богословы толкуют. А ты как? Хочешь человеком лунного света быть? Вздор полнейший! И еще бы в монастыре жил, при строгом уставе, а то сам себя изводишь. Брось ты это, парень! Хочешь, сладко жить будешь? женщин плотски любить — а уж лучше этой отравы ничего нет! — семья твоя будет счастлива и умножен твой род. Хочешь, можешь по научной части пойти, в ученые или инженерá выйти? А коль бесплотная жизнь интересуется, то не так, чтоб задаром, могу и по церковной части помочь преуспеть: епископом будешь, потом митрополитом, на склоне дней — святейшим! Мало? Не отвечаешь? Да я в твоих мыслях читаю: полноты Бога тебе надо. Ах, миленький, — бес-то смеется, — недостижима она, эта-то полнота. Да еще разобратся следует, есть ли Он, Бог-то!»

Алёша изумился бесовой наглости и хотел было прогнать его, да старец удержал, шепнул: «Пусть его, и не такие вещи в миру услышишь. Укрепляйся сердцем». А бес заливает! «Ежли принять, — говорит, — что душа ваша проходит через плотяную форму, то с чего б это формой той не попользоваться? Душа-то свое теряет — форма, она в земле остается. Да и неувязочка у вас в христианстве: ежли душа вечна, так прежде рождения существовать должна. А как плоть прейдет, к первооснове возвращайся — предрождение-то где у вас? У индусских мудрецов куда как складнее.

Вó как! Я мимоходом такие важные истины кидаю вам! Я уж бессмертия душ не отвергаю, лучше меня это опровергнули. Да и вас бессмертье души не очень-то занимает, вам здесь бы прожить праведно. Верно говорю?»

И как ответа не получил, решил бес, что смутил святых людей, и уж вовсе мелким бисером рассыпался: «Ох, и до чего ж я вашего брата, святых, люблю!» Даже подпрыгнул от удовольствия. «Чёрт побери меня, чёрта, — ведь настоящие люди вы! Приятно поговорить. А уж как посудить, так выходит вроде мы с вами очень похожи. Только у вас плюс, а я — с минусом зна́ком. Да и что бы вы без меня делали-то, вы, чистенькие, без меня, нечистого? Как бы это спасались? С кем бы это боролись? Перед кем бы отличались? Нужен я, очень вам нужен. Сами посудите, святые люди, ежели я — бес, стало быть, существую в силу Божьего произволения, а? Миру-то дьявол нужен, как и Бог. Нужен я вам, нужен, святые угоднички. Вы меня умаляете, меня побеждаете, а сами-то возвышаетесь. «Мы немощны, а вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии...» — как это там у вас? И с чего бы нам не заключить мир или перемирие временное? Сесть бы за один стол, попить вместе... Бес, он умеет великодушным бывать. Вот люблю я вас обоих, и тебя, старец, и тебя, Алёша! Последние-то вы угоднички московские, последние! Я — бес московский, вы — святые московские. И душа у меня тоже широкая, русская».

Иринарх с Алёшей строго так слушают, глядят, какие-такие коленца бес выкидывает. А он заливается соловьём-пташечкой: «Намедни с одним богословом западным беседовал, презабавные вещи порассказал: Бог, — говорит, — умер!»

Тут наш бес уселся на табурете поудобнее, ногу на ногу закинул, полез было в карман за па-

пиросами, да понял: не получится его наглость, и тон сменил. «Так и сказал богослов этот. Распятие, — говорит, — было, а воскресения — никакого. А ведь прав он! Опять же, если историю взять. Всегда так было: боги рождались и умирали. У египтян были боги с пёсьими головами, у греков да римлян, разные соблазнительные богини Венусы, а боги — бражники и блудники. У каждого народа свой бог, с которым и живет он в истории. А придет пора, народ исчезнет, с ним и боги его. Как культура кончается, переходит она в цивилизацию, а свершив круг, вянет, цветку подобно. Премудрый философ, западный кумир Освальд Шпенглер, в своей книге «Унтерганг дес абендландес» (так и сказал по-немецки, враг!) прехитро о сем толкует. Крышка, — говорит, — скоро западному миру, а с ним — и вере его. О фаустовской душе толкует. А уж Фауста мы знаем, давно его душу купили!»

Оглядел это так победно московский бес старца с юношей и зашёлся дальше: «Нет, вы посмотрите, бес-то ваш какой начитанный! Я от времени не отстаю, нет. Я всё по науке. Потому и в Бога не верю. В двадцатом-то веке в Бога верить — один сущий позор! А я — чёрт передовой! В последнее время диалектическим материалистом стал. Карлу-Марлу — назубок. Религия есть опиум для народа и вздох угнетенной твари. Очень это мне по душе. Истины такие приятные. Всё в мире изменчиво. Материя первична, дух вторичен. Бытие определяет сознание. Количество переходит в качество. Насилие — повивальная бабка истории. Бога нет, а дьявол есть. Всё очень просто. Хотите спорить? Я готов. Не хотите, значит, презираете? Снизойти до меня зазорно?.. Так — так... О чем, бысть, мы говорили? О Боге? А стóит ли о Нем говорить, коли нету Его? Фикция всё. Дым. Мираж. Жизнь человека — единственная реальность,

неповторимый раз дается, а больше ничего не будет: ни того света, ни Страшного Суда. Всё это ваши попы попридумали, чтоб народ запугивать. Жилось людям плохо, наук они не знали, вот и придумали Бога, и, замечу, прескверно придумали. Зато теперь человек стал всемогущим, о смерти не думает, без Бога живет — славно! Живет-то живет, а зло остается, а искушения остаются, значит — и дьявол остается! Боги-то проходят, а дьявол один вечен. Вот смотрите, — говорит, — боги-то у разных народов были разные, а дьяволы все одинаковые. Иные-то дьяволам только и поклонялись (и поклоняются!), знают нашу силу! А я, — бес вздохнул так меланхолично, — всего-то бес московский и уж явно не вечен. Как Москва сгинет, и я сгину».

«Нет, — так спокойно, тихо Алёша говорит, — устоит Москва, а ты сгинешь. Уходи, бес богохульный!»

«А вот и не уйду! Я над вами еще поиздеваюсь. Теперь мое время пришло, над всем господин — я! Все мне кланяются. Чёрт с вами, без книги обойдусь, да так этого вам не оставлю — и тебе, несчастный девственник, и тебе, старый хрен. Жаль мне тебя, Алёшенька, ну прямо до слез: ни за копейку твоя молодость пропадает и девственность твоя никакому чёрту не нужна».

Но святые люди никак не поддались на бесову провокацию. Тут уж бес и вовсе озлобился да свою бесовскую сущность сразу и выявил. «Нет, вы послушайте только, — издевается, — от сих кротких и жаждущих уединенной молитвы выйдет, быть может, еще раз спасение земли русской. Ха-ха! Ничего-с от вас не выйдет. Это я вам точно говорю. Обреченные вы люди, самоубийцы несчастные! Не задевают вас мои поносные слова? Ишь, какие терпеливые! А может, вам всё равно? И за веру засту-

паться неохота? Да и чего за нее заступаться? Христианство ваше — сказка дурачья. Глупость в ней с самого начала. Библию написали евреи, а вы их вере — враги. Рождение возьмем, Рождество по-вашему, Спасителя вашего — сколько таких-то мифов было и куда еще художественнее, а ваш совсем не оригинален. Во-первых, научно доказано, что никакого Христа не было, а если и был, то так, задрипаный пророчек, которого распяли по ошибке...»

«Богохульствуешь, червь?» — строго так говорит Алёша. А тот как зашипит: «У-у! Ненавижу Христа и вас, христосиков!!»

Старец встал, сотворил насупротив чёрта крестное знамение, возвысил голос и прочёл страшное заклятие: «Заклинаю тебя именем Бога Живаго, Господа моего Иисуса Христа, сгинь и рассыпья в прах!»

И исчез бес, словно его и не было, только запах серный остался.

Вот он, бес, каков: и умный, и начитанный. И где только всего набрался, лукавый? И спорщик великий, и говорун, потому что — бес-то он московский, наш, нашенский. И кто на кого похож? Он на нас или мы на него — поди разберись! Сами думайте, а мне пора. Устал язык чесать. Спасибо за компанию. Счастливо оставаться.

СКАЗ ШЕСТОЙ

ПРО ОЧКАСТОГО ПРОФЕССОРА-ЧУДАКА И ПЕТЬКУ-КОМСОМОЛИСТА, НЕСМЫШЛЁНЫША

Вот, государи мои, граждане московские, товарищи милостивые, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Ищут Черную книгу, а найти не могут. Всем-то она вдруг понадобилась, а сколько лет лежала зря и без интересу. Ишь, говорят, и за границей буржуи про книгу прослышали и тоже на нее покушаются. Да не взять ее никому, потому как известно — заклятие на нее наложено и взять ее может только человек праведный. А бес в это дело крепко встрял и меж людей всяких мельтешит. Сколько уж он душ погубил, а всё ему мало. Очень ему, бесу, надо эту книгу получить. А уж как ее получит — сразу царство тысячелетнее антихристово, но потом-то всё же правда победит окончательно и во веки веков. Таково ведь предписание Божье, но бес-то иначе думает: мне бы книгу только, а там посмотрим, может, я и Самого Бога обману! Известно, таит нечистая рать злобный умысел и от своего не отступится до скончания времен.

Так и бес наш московский: от своего не отступается. Нашел он людей праведных, Иринарха да Алёшу, а вот не смог с ними тягаться. Потому как неземной чистоты эти люди. Но бес-то хитер, ох и ловок! «Что ж, думает, не только меж святыми праведники есть, есть они и среди мирян грешных». Стал искать, по чужим душам шарить, и на-

шел таких двух: очкастого профессора-чудака, и молодого комсомолиста Петьку, несмышлёныша.

Одевает бес гороховое пальто, шляпу-котелок, брюки у него дудочкой, щиблеты узкие, трость с набалдашником — этакий нэпман с Ильинки, и является к профессору на квартиру коммунальную. А на той квартире коммунальной, как по нынешним временам положено, дым стоит коромыслом: котлеты шипят, самовары кипят, керосинки чадят, примуса гудят, соседки, натурально, бранятся, ребёнки малые пищат. Бес звонит, ему отворяют нескоро да еще ругают: «Кого там чёрт принес?» «Да я самый чёрт и есть!» Смеется соседка: «Вот если бы вы за мной поухаживали!» «А это мы, черти, завсегда горазды, и мы с вами не раз еще свидимся. А пока скажите, где профессор ваш проживает?» «Этот хрен-то старый? За кухней в каморке». Идет бес, в нос ему шибает щами кислыми да котлетами подгорелыми, так что даже ему, адскому жителю, невтерпеж.

А профессор сидит в своей каморке за кухней и радуется. Раньше-то вся квартира его была, а теперь он в бывшей кладовке обитает, книг у него до потолка, на книгах спит, книгами укрывается, про еду и сон забывает, а чем живет — неведомо.

Вот бес его и приветствует: «Как поживать изволите, дорогой профессор?» «Прекрасно, прекрасно, вот читаю книгу — изумительно, превосходно...» «Вы, — спрашивает, — небось, филолог?» «Да, да, филолог». «Я так и думал. А про Черную книгу слышали?» «О, конечно!» «А хотите ее получить?» Профессор аж затрясся весь: «Неужели, неужели! Где она? Это будет великое открытие для науки!» «Пока книги со мной нет, но я знаю, где она». «Ах, как чудесно! Уникальнейший памятник средневековья! Это будет находка почище «Слова о полку», как вы полагаете?»

«Совершенно с вами согласен», — отвечает бес. «И это рукопись подлинная? Или список позднейший?» «Самая разнатуральная рукопись». «Не знате ли, какого века?» «Начала семнадцатого». «Чудесно, чудесно! — суетится профессор. — Памятник живого народного языка. Я эту рукопись опубликую, а сам напишу вводную статью под названием «Памятник русского чернокнижия». Да это будет подлинный переворот в науке!.. Только как же нам эту рукопись достать? Что она будет стоить?»

«Ровным счетом ничего, — отвечает бес, — а вернее — пустяки считанные. Денег-то у вас, небось, того-с, не густо?» «Да, да, денег у меня, знаете, что-то того...» «Вот видите. Но ничего, уж больно я ученых людей люблю, очень они мне, если хотите, близки, и все как есть на нас работают. Так что для вас готов на любые одолжения». «Вы так любезны. Я обязательно упомяну ваше имя в предисловии». «Лучшего и желать нельзя, — соглашается бес и всё улыбается, — так уж вы мне только расписочку напишите». «Извольте, охотно, на какую сумму?» «На душу». «Не понимаю вас, извините...» «А чего тут понимать? Про доктора Фауста, небось, читали и знать должны, чего эти черные книги стоят». «Вы шутите, наверное...» «Нисколько. Если к Фаусту мог прийти Мефистофель, чего ж это я не могу прийти к вам?» «Но нереально это!» «А на что вам реальность? Кабы вы в реальности хоть чуточку смыслили, не сидели бы в этом, простите, нужнике, и денег бы у вас куры не клевали. Потому-то я к вам и пришел, что сами вы нереальный и всё, что окружает вас, прах весь этот, тоже нереальное». «Но позвольте...» «А чего тут спорить? Надо ли? Нам с вами не о философских материях речь вести, а о Черной книге. Хотите эту книгу получить, напишите рас-

писочку, — и дело с концом». «Ах, — говорит профессор, — никак не могу поверить, что вы существуете! Вы хоть визитную карточку покажите». «Это можно, — бес отвечает и предъявляет профессору рога и копыта. «М-м да... — говорит профессор, — действительно...» И в задумчивости даже чёртово копыто потрогал. Тот взъелся, пнул его под зад и говорит: «Кончай канитель, подписывай, — и дело с концом!» «Вам надо кровь, руку резать? А я боли боюсь». «Ничего подобного не требуется. Это уже устарело, не применяется. Есть у нас адская самопишущая ручка, вот ею и подмахните». Профессор хотел было подписать, да чёрт вдруг спохватился: «Эх, забыл спросить, а точно ли ты праведный?» «Не знаю». «Ну, деньги ты любил?» «Нет». «Людей обманывал?» «Нет». «Баб любил?» «Как вас понять?» «Ну, спал с бабами?» Профессор даже покраснел от возмущения. «Извините, говорит, ваши намеки... Я даже женат не был». «Ну а так, внебрачно?» «Как вам не стыдно, я никогда не опускался до такого скотства!» «А хоть целовал кого?» «Ребенком еще, кузину Верочку, она умерла дитём, и я всю жизнь был ей верен...» «Ну, — говорит бес, — подписывай, бóльшего остолопа, чем ты, не найти мне».

Ох, братцы, и в горле же пересохло! Легкое ли дело про беса складывать, ведь такое наплетешь, что без нашей московской никак не разберешься... Ну, да воскреснет Бог и расточатся врази Его...

И вот берет чёрт, бес московский, профессора за руку и ведет к Сухаревой башне, дает ему в руки кирку и место показывает: здесь долби. Профессор раз долбанул — чуть лоб себе не расшиб, другой раз долбанул — по пальцу попал, зажал руку, воеет. «Нет, — говорит бес, — ничего у тебя

не получится. Иди-ка ты домой и жди, пока я тебе помощника подыщу».

Пошукал бес, порыскал и нашел такого молодого заядлого комсомолиста. Одевает бес картуз мятый, подпоясывает грязную рубашку ремешком и отправляется в ячейку, а сам напевает: «Наш паровоз лети-лети, в коммуне остановка!» Приходит в ячейку и бодро орёт: «Здорóво, комса! Пролетарии, соединяйтесь! Я, — говорит, — до комсомолиста Петьки дельце имею». «Ну, я Петька». «Ну, давай пять! Я потомственный рабочий Ванька Чёртов». «Здорóво, Иван». «Как ты полагаешь, Петька, надо всю мировую буржуазию в бараний рог согнуть?» «Верно толкуешь, рабочий Чёртов». «Ради победы во всемирном масштабе жизни не пожалеешь?» «Ничего не пожалею, рабочий Чёртов». «Рот фронт!» — говорит чёрт, да как прыгнет, да как перднет — всё дымом заволокло, а как рассеялось, видит Петька, что находится он неведомо где, а рядом — кто-то мохнатый и противный несказáнно. «Это где же я?» — спрашивает Петька. «А на заводе у нас в котельной. Видишь, шуруют работяги, котлы разогревают». «Да ты-то сам, Чёртов, на натурального чёрта похож!» «А я чёрт и есть». «Этого, — говорит Петька, — по диалектическому материализму никак не положено». «Никто, Петька, — бес отвечает, — с первого раза не верит, да это всё пустяк. Не к такому еще привыкнешь. Чёрт я истинный. Мастер по котлам и оборудованию в московском цехе». «Катись ты, — говорит Петька. — Это у меня с голодухи, верно, в уме завихрение». «Нет, Петька, ты со мной на нашей адской фабрике на экскурсии. Вот сейчас мы с тобой в котельной, где адский огонь разводят. У нас в аду все свои в доску работяги. Это Бог там и ангелы — эксплуататоры и гады, а мы все — пролетарии. Ведь ты в Бога не

веришь? И правильно. А в нас ты веришь. Кто в Бога не верит, тот в чёрта верит, уж точно». «Я в мировую революцию верю!» — говорит Петька. «Вот и я тоже! Чтоб все равные были, чтоб все пили и ели от пуза, верно? Наша это философия, Петька, чисто наша! Бог-то, Он что, буржуй, говорит: Царствие Мое не от мира сего. А мы говорим: всё наше, всё от мира сего. Главное, Петька, нам такие как ты нужны, которым ничего не надо, кроме этой самой мировой революции. Режь, круши, ломай, — и дело с концом! А уж там другие за тобой подберут. Да ты всё одно ничего не поймешь, Петька, потому как у тебя мозги овечьи и нет души человеческой, одни у тебя условные рефлексы, а в душу ты не веришь, потому как нет ее, верно?» «Ты, — говорит Петька, — не очень-то заговаривайся, а то как отпущу тебе красноармейским пайком!» «Ай, молодец ты, Петька, люблю таких, дай пять!» «А пошел ты!» «А вот и пойду и ты со мной...»

И вот идут они по адской фабрике, а кругом работа кипит, вкалывают работяги изо всех сил, а полочки не требуют. Кто лопатой у топки орудует, кто воду перекачивает из пустого котла в порожний. Дым, пар — ничего не видно, только пламя злое гудит, сердитое такое пламя, языки его что змеи из топок выскакивают и норовят за ноги схватить. На манометрах стрелка уперлась в красную черту, того гляди котлы лопнут. «Авария ведь будет!» — Петька-то пугается. «Ничего, — успокаивает его сопутствующий бес, — у нас всегда так, авось до Второго пришествия выдержат!» И кругом лозунги висят: «Выше адское соревнование!» «Навстречу встречному!» «Встанем на ударную вахту в честь Страшного Суда!» «От каждого по труду, каждому по грехам!» А тут же — в проходной — на доске объявление: «Вопрос об

отпусках будет решаться в день Страшного Суда. Адком». «Видишь, Петька, — бес-то говорит, — как у нас, — у нас порядок!»

И видит Петька: идут они по довольно чистому коридору, пепельницы стоят, двери с табличками, пишущие машинки стрекочут, служащие собрались в уголке, курят адские папиросы, о чем-то интересном судачат, курьерши проносятся с папками и стаканами чая, все с ними здороваются, и бес сопровождающий всем приветливо кивает: «Здравствуйте! Адпривет!»

«Видишь, Петька, — бес поясняет, — учреждение у нас тут солидное — наркомат адский, Наркомад, по-нашему, а по-старому — департамент, а я в нем — столоначальный московский бес, по-бывшему, по-нынешнему — начглавк адских проделок. А вот наша приёмная».

Петька глядит: сидит в приемной за столом секретарша-чертовка, телефоны у нее звенят, она на них, как водится, ноль внимания, а на стульях посетители томятся. И кому-то безликому и бесплотному секретарша сурово так говорит: «Сатана Люциферович вас принять не может. Он на важном совещании». «Как же мне быть?» — пугается душа. «Не знаю, как. На вас документация не поступила. Идите в Райкомад». «Но туда тоже документация не поступала!» «Ничего не знаю. Ждите Второго пришествия».

«Видишь, Петька, — бес-то поясняет, — тут у нас порядок! Бывают, конечно, мелкие недоразумения, но где их нет?»

И вот идут они дальше — другим коридором, и мрачный коридор такой, двери, как в тюрьме, и глазки в них. «Куда-то ты меня в тюрьму привел?» — Петька пугается. «А это самая наша внутренняя тюрьма и есть. Здесь у нас Адчека, вó как!» И будто стены стали стеклянные, и видно сквозь

них, что там делается. Сидит следователь хвостатый, а перед ним некто бесплотный. На столе «личное дело» с надписью «начато...», «окончено...» и даты. «Сознаёшься?» — спрашивает следователь. «Не виноват, не виноват!» — кричит душа. «Знаем мы вас, все вы не виноваты. Ты уж лучше сразу сознавайся, не то хуже будет!»

И видит Петька: в другой камере мордуют черти бесплотного, а сами для веселья патефон завели, танго крутят: «Там-та-там, да по мордам там-там!» — «Брызги шампанского» называется. Еще дальше — вроде суда. Сидят за столом трое хвостатых, против них душа. «Ну, так как? Признаёте себя виновным?» «Не во всем... то есть было, но без злого умысла. Я раскаялся, а Бог велел прощать раскаявшихся». «Так то Бог, а здесь — Адчека. До Бога далеко, до чёрта близко. Именем адского трибунала приговариваем тебя бессрочно!»

«Вот как у нас, Петька, — это бес-то. — На каждую душу «личное дело» от рождения до смерти, а потом следователь обрабатывает и — на трибунал. Трибунал у нас суровый — всех к бессрочной, у нас иной кары нет. Раз к нам попал — значит, виноват. Бывает, конечно, по недоразумению праведная душа попадёт — всё равно. Следователь заставляет подписать такое, чего в жизни не делал. И трибунал решает. Оправданий у нас не бывает — мороки много, да и нельзя свой престиж подрывать. Так-то, Петька! Отпрыгаете вы свое положенное там, наверху, и все к нам попадете. Тут мы вас расфасовываем. Ежли партийный — шпарь на коммунистическую улицу, ежли оппозиция — в оппозиционный переулок, а комса — на комсомольский проспект!»

И вдруг перед Петькой: пустыня жёлтая, бесконечная, небо чёрное, с овчинку, стоят бараки с решётками, и всё колючей проволокой перетянута.

«Тут у нас зона и особый лагерный пункт, — бес поясняет, — жить будешь вечно в бараках, спать на вагонке, выходить на общие работы, а есть баланду. Раньше-то вы, грешники, в котлах кипели да сковородки лизали, а теперь мы у вас, людей, научились, как с вашим братом посуровее справляться. Пакостники вы, людишки, ох, и пакостники! Теперь у нас, Петька, не ад больше, а «Адлагон» — Адский Лагерь Особого Назначения. Сатана у нас — начлаг, а ангелы его — помощники по разным делам. Я сам в оперативной группе работаю, опером зовусь. Охрана у нас — из бывших чекистов, им эта работа привычная. Вожди ваши у нас в придурках ходят — они к физической работе непривычные, кусошничают да чужие тарелки вылизывают. А бог ваш бородатый, Карла-Марла, у нас в ангельский чин произведен, вселяется он в людские души, и его оттуда не каждой молитвой выведешь».

«Ох, и трепло же ты, — говорит Петька. — То у вас тут фабрика, то наркомат, то чека, то лагерь, не пойму ничего, голова трещит с голодухи». «Ад, Петька, есть место незнаемое, формы он не имеет, меняется аки хамелеон, каким его представишь, таким он тебе и будет. Ну, да тебе это сложно, тебе нужны истины простые. Бытие определяет сознание, и всё тут».

Тут дым рассеялся. Смотрит Петька: опять сидит он за столом в своей ячейке под портретом Карлы-Марлы, а против него — рабочий Чёртов. «Вот что, Петька, — говорит ему Чёртов, — надо мировую революцию спасти немедленно!» «А как?» «А вот как. Есть такая Черная книга, вроде она нашего «Капитала» будет. Прочтешь ты книгу, овладеешь ейной мудростью и будет тебе революция сразу и в мировом масштабе. Да вишь, хотят эту книгу захватить враги, так мы должны их

упредить». «Темно изображаешь, рабочий Чёртов». «Да не Чёртов я, а чёрт натуральный. Пойми, дурачок. Предлагаю я тебе добыть для дела пролетариата Черную книгу. Добудешь книгу, прочтешь ее и будет тебе революция сразу и во всемирном масштабе. Это дело, Петька, научное и самим Карлой-Марлой предсказанное». «Брешешь ты всё». «Да, ей-Богу, не вру! Какой мне смысл? Мне самому всемирная революция нужна. Вот уж покуролесим! Мы, черти, все революционеры от сотворения мира, ныне, присно и во веки веков. Мы против Самого Бога бунтуем, в черном теле ходим, и мне даже странно такое от тебя слышать». «Ладь, — соглашается Петька, — давай сюда свою книгу, посмотрю, что за вещь». «Книгу еще взять надо, бес так отвечает, — а пока гони, Петька, заручительство, а то тебе помогать не буду. Души мне твоей не надо, потому нет ее у тебя, а вот сделай подлость, Петька: продай отца родного». «Чего ты мелешь?» — Петька злится. «Да вишь, батя твой, пока ты в пролетариях состоял, забогatel совсем в своей деревне, кулаком стал: коровёнку вторую завел, лишнюю овечек пару и мешок зерна про черный день припрятал. Оно, конечно, работал твой батя от зари до зари, потом умывался, а всё ж, с пролетарской точки зрения, кулак он и подлый богатей. Надо, Петька, непременно донести на него властям. Вот тебе бумага, тут и подписывай». Петька мнётся. «Ну, что ж ты? — бес спрашивает, — говорил, что для мировой революции ничего не пожалеешь, а, выходит, сам кулаков поощряешь?» «Отец ведь...» «Что ж, что отец, а коль он — против беднейшего пролетариата и трудового крестьянства? Плохой ты комсомолист, Петька! Совсем ты гнилой интеллигент. Придется тебя разобрать на ячейке». И поднимается бес, чтобы уй-

ти. «Лады, — говорит Петька, — давай, коли для мировой революции...»

После этого ведет бес Петьку к Сухаревой башне и туда же очкастого профессора доставляет...

Ну, в другой уж раз, братцы. Нет, не просите, мочи нет. И рюмочкой не соблазните, ничего мне не надо, наплёл я столько, что одно на уме — как бы поспокойнее уйти от греха. Разве что посошок принять... ну, и другой... Ну, уж ладно, задержусь немного, а уж вы меня, старого дурака, не выдавайте никоим образом!

Да... А уж полночь наступила, ветер, дождь хлещет — погода адова, и на улице в ту пору никого. Бес тут такого дождя-тумана напустил, что всё завесой сокрылось, а Петька давай сухаревскую стену киркой долбить. Работают они, а бес над ними зонтик держит. Долб-долб — сначала дело худо шло, а потом вроде как покачнулась стена, Петька еще как махнет — тут гром страшный вдарил, потом-то говорили — в сухаревский громоотвод молния врезала, земля содрогнулась, стена развернулась, и видят они — светится в ней яминка, а в той яминке книга лежит, золотом убранная. Петька потянул к ней руки, а его как шархнет, чуть не убило.

«Нет, — смеется бес, — тут нужны руки почище, а ты на родного отца донес. Берите-ка, почтенный профессор!» Профессор ту книгу взял, раскрыл ее, стал читать при свете фонаря и аж дрожит от радости: «Какой язык, — восхищается, — какая меткость, какая сочность!» А бес Петьку подталкивает: «Отбери у него книгу, у контры!»

«Отдавайте книгу! — Петька говорит. — Я стену киркой рубил, а вы ее только взяли». «Я ее только прочту, сниму копию и вам отдам». «Сейчас отдавай!» А бес нашёптывает: «Для мировой революции ведь!»

Не отдает профессор, прижал книгу к груди, совсем ополоумел от находки, да как даст стрелка! Петька за ним, киркой размахивает: «Отдай, — вопит, — не то убью!» Профессор кричит: «Ай-ай! Убивают!» Петька как махнет киркой, по счастью, сорвалась кирка и только плашмя ударила, оглушила профессора. Тот свалился, а Петька книгу хватить — и дёру! Тяжелая книга, еле несет, а уже свистит милиция, орут: «Держи! Человека убили!» А возле башни всё кто-то черненький носится, мельтешит, стали хватать — оказался дым один. Это бес их вокруг пальца обвел, а Петька тем временем убёг.

Бежит прямёхонько в свою рабочую трущобу, в общежитие, а чего бежит и зачем эту книгу несет — сам не понимает, чует только, что горят на нем брызги чужой крови и жгут нестерпимо. Добегает до своей трущобы и видит: сидит на порожке мужичок, в зипунишке и лаптях, убогий такой, на дожде промокший. И узнал в нем Петька своего родного отца! «Здравствуй, сынок, — говорит мужичонко, — вот и свидались». «Здравствуй, батя...» — говорит Петька оробело. «Чтой-то у тебя такое? Книга какая-то в золоте? Э-э, да у тебя руки в крови! Уж не убил ли кого?» «Спасай, батя, погибаю!» «Что ж ты, рассукин сын, наделал? Спервоначалу отца своего родного предал, разорил до нитки, а теперь чью-то невинную кровь пролил?» «Я, — отвечает Петька, — всё для мировой революции делал!» «Значит, для мировой революции ты своих родителей по́ миру пустил? Мать-то твоя, старушка, померла с горя, сестрёнки да братишки под окошками христарадничают, а меня, отца твоего, выслали вовсе по твоему иудиному доносу. А теперь ты людей стал убивать, да, вижу, Божьи церкви грабить? За всё предо мной ответишь! Худую траву — с поля вон! Завелся в семье

выблядок — порешу тебя собственными руками!»

Перекрестился мужик и достал из-за голенища сапожный острый нож. Только видит — кривляется возле кто-то мохнатенький и под руку подталкивает: «Ударь! Ударь!» Мужик был богомольный и врага понял, стал молитву читать: «Спаси, Господи! От греха убереги!» А потом нож убрал и говорит: «Уходи, Иуда!» Тот стоит потерянный, потом как закричит: «Не надо мне ничего!» Книгу бросил и побежал, куда глаза глядят.

Мужик ту книгу подобрал и пошел себе... А что дальше было, братцы мои, товарищи хорошие, убей Бог, не знаю. Вот и думайте и гадайте: покинула Черная книга Сухареву башню или назад вернулась? Вам-то самим как кажется? Сам-то я видел, да и вам говорил: профессор один очкастый, головой он поврежденный, с Канатчиковой, возле башни ходит да молоточком выстукивает, а где книга — места вспомнить не может. Вот ведь какие пирожки-оладушки. Ну, да что толковать, поживем-увидим, еще не такие чудеса будут, помяните мое слово. Потому как жив бес московский и свое уступать не хочет. Ну, а нам, людям грешным и мизерным, с бесом связываться вовсе немисленно. А чую — рядом он и как бы беды не нанес. Так уж я пойду, друзья веселые, граждане московские... Ну, разве что на дорожку. Спасибо вам, милые мои, люди добрые. Всем вам поклон. Спасибо за компанию. Счастливо оставаться.

СКАЗ СЕДЬМОЙ

ПРО ВЕЛИКОГО ГРЕШНИКА, ПРО МУЖИКА РУССКОГО И ОПЯТЬ ПРО БЕСА

О чем же рассказать вам сегодня, граждане-сударики? Опять про беса? Понравился, вишь, вам бес! Он и мне, признаюсь, как ни грешно, нравится — враг он наш, а ловок и презатейлив. Но сколь же мерзок! Вы послушайте только, что он вытворил.

Приходит наш бес к знаменитому одному нынешнему поэту-писателю. Принимает облик красавицы писаной, блудницы распрекрасной. «Я, — говорит, — ваша поклонница!» Поэт ручку к сердцу прикладывает, глазёнки горят масляно: «Очень рад, очень рад!» Сажает гостью на диван, сам рядом подсаживается, потчует ликерами-коньяками и винами всякими. Чёрт ни от чего не отказывается, потому как яд-алкоголь на него — никакого воздействия. Напился поэт, наакался, подбирается к гостье, обнимает ее, прижимает, руками свободу проявляет. Хочет грудь полапать, а чёрт ему кукиш в ладонь сунул, за коленку берет, а она мохнатая! Смотрит поэт: чёрта он обнимает, чёрт у него на коленях сидит! «Ну, — говорит поэт, — до чертей допился!» «Еще не допился, — отвечает наш бес, — потому как я самый что ни на есть разнатуральный чёрт!»

Смотрит поэт — и правда: он самый, чёрненький, мохнатенький, с хвостом и рожками. «Фу ты чёрт, и правда — чёрт!» А бес наливает вино-конь-

як в рюмки и предлагает: «Давай выпьем за дружбу!» Поэт соглашается: «Чёрт с тобой, давай, мне всё равно, с кем пить, лишь бы пить». Выпили. «Я думаю, — бес говорит, — что тебе не надо доказывать, что я самый что ни на есть разнатуральнейший чёрт, потому как ты — человек, наделенный творческой фантазией и богатым воображением, — сам в меня поверишь. Да и книги кое-какие ты читал, про доктора Фауста и распрекрасную Маргариту». «Охотно тебе верю, — говорит поэт, — только давай сочини что-нибудь поинтереснее. Я, — говорит, — вашего брата, чертей, знаю, и что вы посулить можете, тоже знаю. Посулить ты мне можешь, как Фаусту, вечную молодость. Так заранее заявляю тебе, что она мне ни к чему. Свою молодость я в дым пропил, баб перепортил множество и вторично пропивать и с бабами возжаться не имею удовольствия». «Отлично-хорошо, — это бес-то, — с умным человеком и потолковать приятно. А как насчет славы?» «Что́ слава — жалкая заплатка...» «Знаю, знаю, — перебивает бес, — читал, а всё-таки, если не так, временно, а вечно? Мы ведь, бесы, вечны и дела свои заключаем на вечность».

Призадумался поэт, а чёрт ну ему расписывать: «В классики выйдешь, собрание сочинений твоих издадут, детишки в школе твои стишки наизусть будут затверживать, твоим именем улицы будут называть, города переименовывать, пароходы по Волге-матушке побегут, ну и, натурально, — бронзовый монумент с трехэтажный дом». «А мне, — говорит, — может, наплевать на бронзы многопудье!» «Позволь тебе не поверить, — этак ласково бес-то говорит, — нет такого человека, который бы не хотел оставить след в вечности». «Ладно, чёрт с тобой, чёртом, уговорил! Значит, ты мне — славу, а я тебе — душу?» «Уж это как водится. Поэтические души нам, чертям, очень как

нужны, с вами, поэтами, не заскучаешь. Наши вы люди, не все, но многие от вас — наши!» «Это точно, — гордится поэт. — Я, может быть, просто в самом обыкновенном евангелии тринадцатый апостол!» «Балда ты, дурачок, — бес-то смеется, — не бери не по чину. Тринадцатый апостол — сиречь антихрист, и его царствие впереди. Подумаем-ка лучше, на что ты способен и чем ты нашему бесовскому войску слуга. Умеешь ты плевать и лизать?» «Это смотря в кого и смотря чего!» — ухмыляется поэт. «В одних плевать, другим ж... лизать». «Прямо так ходить и плевать?» «Ну нет, конечно, фигурально, в письменной то есть форме». «Это, — отвечает поэт, — можно». «Значит, далеко ты пойдешь и многих благ сподобишься. Но для бронзового монумента этого мало-недостаточно». «Что же еще надо?» «Ужли не знаешь? Вселяется такая тайная сила в человека, люди ее называют даром Божьим, ну а Божьим или бесовским — разве разберешься?» «Ах да, — говорит поэт, — разумеется, талант!» «Ну, а как у тебя насчет этого?» «Говорят, есть!» «А много ли?» «Да кто его знает». «Вот то-то и оно. Тут уж без нас, бесов, никак не обойтись. Талант — это по нашей части. Для Бога-то блаженны нищие духом, а таланты Ему безразличны. Для нас — нет. Талант чаще всего к нам идет, так уж мир устроен. Да вот ведь какое дело: сами-то мы раздавать таланты не вольны, но помочь кое в чем можем. Главное тебе — решиться на усилие чрезвычайное. Как один философ — Ницше назывался — вякнул: встать по ту сторону добра и зла. А коллега твой — Достоевский Федор Михайлович — так выразился: дерзнуть на своеволие и преступить. Вы скажусь яснее: кровь нужна. А вот для чего, — расскажу. Есть такая Черная книга, а в ней — все тайны и власть над миром. Добудешь ее, скажем,

ты, поэт, и сразу станешь великим и монумента сподобишься. Но вот беда: взять ее могут только чистые руки, а ты — какой уж там чистый: пьяница да блудник. Но есть для тебя выход — кровью пожертвовать своей, узнал я, кровь с книги заклятие снимает». «А много ли крови?» «Всю до последней капельки». «Так этак я того...» — улыбается поэт и пальцем вверх показывает. «Зачем же туда, — серьезно так отвечает бес, — туда!» — и пальцем вниз сует. «Нет, — содрогается поэт, — мне это что-то не подходит!» «А душу-то свою ты согласен мне отдать?» «Согласен, так ведь это когда...» «А мы о сроках не сговаривались. Почему бы не сегодня, не сей момент?» «Очень уж страшно», — говорит поэт и ёжится. «А ты что ж думаешь, всемирная слава, она трусостью достается?» «Да нет... но уж как-то сразу ты...» «Иначе нельзя, не то к другому поэту пойду, мало ли вас!» — бес-то пугает. — «Да ты подумай, чего проще! Чик — и готово! Зато какие похороны тебе закатят! Залюбуйся! Речи будут говорить, лживые слезы лить, скажут: не оценили, не доглядели... А потом, как я предсказал, не пройдет и тридцати лет, как памятник поставят. Его бы и раньше можно, да бронза — металл ноне дефицитный. Во как!» «Эх, — говорит поэт, — прощай моя раззабубённая головушка!» «Оно, — поощряет его бес, — у вас, поэтов, даже модно ноне самоубийствовать. А для храбрости хвати-ка вина-коньяку!» «Эх, — говорит поэт, — чёрт с тобой, жисть моя распропащая, выпьем, чёрт проклятый, на брудершафт!»

Ох, братцы, совсем я заврался и что дальше врать — не знаю. Уж не осудите, пойду-ка подобру-поздорову, в другой уж раз... Стопочку для прояснения мозгов? Хм... разве что... Выпьем вина — прибудет ума. И кто ее, такую гадость, выдумал?

Бес. Не иначе. И как ее партийные пьют, уму непостижимо! Ну, с Богом!

И вот, братцы мои, государи-граждане милостивые, радуется, веселится бес, — ему бы только найти душу растленную, толкнуть ее на страшный грех, а там уж — книга его, а с книгой вместе — вся полнота власти и зло невиданное. Просто это сказать, да не просто сделать, и даже бесу затруднительно, потому — заклята та книга и взять ее могут только чистые руки, а чтоб она к чёрту в лапы попала, для этого надо, чтоб кровь праведная пролилась, тогда только заклятие спадет и бесу унести ее можно, а так — ни-ни! И вот — почему, не знаю, — не злодей отпетый ему для такого дела нужен, таких-то блатных-уголовных в Москве пруд пруди, а чтоб был не тать, не убивец, а всё же грешник величайший, и чтоб стал он татем и убивцем. Для того-то и искал он душу растленную и нашел такого поэта-писателя.

Да... чмокнул чёрт его, поэта, в уста, поэта тут же наизнанку вывернуло от смрадного бесовского дыхания, но выпил он всё же вина-коньяку и очухался.

«Люблю тебя, — чёрт-то говорит, — отчаянный ты человек и сорви-головушка, да я тебе еще не всё условие сказал. Себя-то ты убьешь, да этого мало, это не дело, а полдела, ты еще и человека невинного убьешь». «Пошел ты в ад! — поэт кричит, — мало тебе меня одного! Убирайся, а то тебя переkreщу!» «Не боюсь, потому как ты нехристь. А кровь пролить невинную тебе придется, да и что тебе стóбит? Вспомни-ка, сколько, людей невинную кровь лили и за то вышли в большие герои и монументов сподобились? Не бойся: никто не узнает, я концы спрячу, а совесть тебя мучить не будет, потому как после этого ты сам с собой расправишься». «Ну и подлец ты!» — говорит по-

эт. — Много видел я на свете подлецов, но таких — в первый раз». «И не мудрено, — не смущается бес, — на то я и есмь дух зла. Но понапрасну полагаешь, что я — предел, есть среди вас куда нашего брата похужей, ну, да это погудка иная, давай дело делать». «Какое дело?!» «Вооружайся на двойное смертоубийство». «Пошел ты к чёрту! — кричит поэт, — убирайся вон!» «А как же слава всемирная и вечная?» «Ну ее к чёрту!» «Так ведь чёрт-то я, тут, куда ж ты ее кинешь? А дело-то простое: чик! — и готово. Хошь ножом вдарь, хошь револьвером пальни». «Да кого, кого?!» «А первого, кого на улице встретишь». «Нет! Я — поэт, а не убийца!» «Что за чушь! Ваши же теориейки говорят, что каждый человек — в потенции убийца. Знаешь, даже такая мыслишка имеется: не убийца, а убитый виноват! Ну-ка про Каина и Авеля припомни? Или про Моцарта и Сальери?» «Уходи!» — кричит поэт. «А вот не уйду!» «Ах, не уйдешь?!» Шварк в него бутылкой! Пролетела бутылка через чёртову башку, как сквозь дым, и об стенку — в кусочки. Выхватывает тогда он из стола пистолет-револьвер: бух! бух! Чёрт те пули лапкой поймал и поэту предъявляет: «Ну, теперь ты понял, что я настоящий чёрт?» «Теперь понял», — говорит поэт и уж хочет пистолет-револьвер к виску приставить. «Погоди, — останавливает бес, — еще не время, совсем немного потерпи». «Как ты мне всю душу испакостил!» — говорит поэт. «Выпей-ка ты напоследок нашего адского зелья, я этот напиток незримо всем самоубийцам подношу». «Давай, чёрт с тобой!»

Достал чёрт откуда-то пузатую заплесневелую бутылку, помочился в нее для поэта незримо и наливает в бокал — пей! Выпил поэт, чуть не задохнулся. «Как себя теперь чувствуешь?» «Злость во мне дикая. Убить мне кого-то хочется, всё равно

кого». «Ну, коли так — действуй!» Схватил поэт пистолет-револьвер и выбежал на улицу...

Нет, братцы, не невольте, в другой уж раз доскажу, право слово, устал я, притомился, сил нет... Уж коли рюмочкой подкрепиться... Да и то не знаю, что выйdet... Полегчало маненько... что Христос босыми ногами по душе ступил... Поплывем с Божьей помощью дальше.

Выскакивает это поэт на улицу, а ночь глухая, темень — глаз коли, дождь так и хлещет. И видит поэт — стоит под фонарем детиночка, ребеночек малый, мокрый, бедняжечка, до нитки, трясется, сам бледненький, глазёнки круглые, испуганные, плачет сиротинушка. Поэт забыл сразу, зачем выскочил и про пистолет-револьвер; пиджак скинул, ребеночка накрыл и домой принес. «Ну что ж ты?» — бес его встречает. «Ребеночек вот, промок, иззяб...» «Так я ж тебе сказал: первого встречного, а ребеночек-то кто́, али не первый твой встречный?» «Вот! — кричит поэт. — Не надо мне от тебя ничего, не надо мне никакой славы, а хочу я больше славы хоть раз в жизни сделать доброе дело!» «Отменно-замечательно! — бес-то, — а ты посмотри, кого привел».

Смотрит поэт: щенок в его пиджаке завернут! Да странный какой-то щенок: начал он вдруг расти, раздуваться, с большую собаку вырос, с теленка, глаза ярым огнем горят, шерсть дыбом, сам черный... Как бросится на поэта, как начнет его рвать-кусать! Поэт из пистолета-револьвера: бах! бах! И упала собака. Только смотрит он — а вместо собаки ребеночек лежит убитый! Тут поэт от страха-ужаса чувств и лишился.

Очнулся, а чёрт ему виски трет. «Бедняжечка, — это бес-то. — Как же ты так? Всё это тебе примерещилось: никакого ребеночка, ни собаки не было, это я мечтаниями бесовскими навел, чтобы те-

бя испытать». «Долго ль ты меня еще мучать будешь?» «Совсем немного осталось. Теперь тебе легче будет, потому как я тебя к злодейству приуговил». «Сил нет, — молит поэт, — тебя терпеть, мне самоубийствоваться хочется, поскорее руки на себя наложить». «Уж не беспокойся, — успокаивает бес, — сделаешь это в самом лучшем виде, а пока ступай смело, идет сейчас по улице мужик и несет Черную книгу. Отбери у него эту книгу любыми путями».

А мужичок-то, Никитич, отец Петьки-комсомолиста, и вправду шел по улице с Черной книгой. Не знал он, что это за книга, но понимал: дорогая. Куда нести ее? — тоже не знал, но ноги сами вели его, будто книга дорогу показывала.

Выбежал поэт на улицу и видит в темноте: вроде бы какой огонек к нему приближается. Приблизился огонек, разглядел поэт — точно, идет мужик обыкновенный, с бородой, а в руках огнем-золотом горит-переливается чудесная книга. Красоты неопишуемой: листовым золотом обложена, отделана самоцветами, рубинами и изумрудами, сияют они на ней, как звезды на небе.

«Здравствуй, хозяин! — обращается поэт. — Куда это ты книгу несешь?» «Доброго здоровья, если не шутишь, — торопливо отвечает мужик, а сам вперед спешит. — Прости, недосуг мне, час поздний и гуторить некогда». «Ты не продашь ли мне книгу?» «Не моя она и продать не могу». «Может, так отдашь?» «И так не отдам». «Отдай, мужик, очень она мне нужна! Пропаду я без нее». «Шли бы вы своей дорогой, человек хороший, а то час поздний, да и пистолет-револьвер у вас за чем-то. Далеко ль до греха?» «А если я тебя сейчас застрелю?» «Неужто душу свою за книгу погубите?» «А я ее, мужик, может, давно из-за книг

погубил, мне терять теперь нечего, и чёрт мне помогает. Отдавай книгу или застрелю!»

У мужика от страха язык отнялся, чуть не шёпотом вымолвил «караул!» и давай дёру. Поэт за ним, пистолетом-револьвером размахивает. Прицелился и — бах! бах! Бежит мужик еще пуще со страху. А бес, который всё время незримо рядом, на ухо поэту шепчет: «У кого в руках Черная книга, того не убьешь. Ты сначала книгу отбери, а потом убей!»

Бежит мужик старый со всех ног, из сил выбивается, в уме читает «живые помощи». А поэт молодой, ноги резвые, его нагоняет. Только видит мужик — горит впереди огонек ясный, вроде звездочки путеводной, и понимает он, что в том огоньке его спасение. И совсем мужику пришла бы беда, потому как бес московский против него был, но тут и бесу нашенскому вышло внезапное посрамление...

Ох, и заболтался я сегодня, да уж ладно, теперь на полдороге не остановлюсь, только уж, ребята, как хотите, а второй штоф заказывать надо, потому как такое хитросплетение ума настало, что без этой подмоги никак не расплетьшь... Вот оно и хорошо. Всю честную компанию потчуй, хозяин! А уж я вас распотешу. Эх, хороша, зараза!

Да... И вот вышло нашему московскому бесу полное посрамление. Ловок он, враг, всё предугадал, предувидел, нашел руки достающие и руки берущие, нашел душу растленную, испакостил ее до нестерпимости, довел до исступления и на зло кинул; и вот-вот всё им задуманное должно было исполниться, да забыл бес про своих бессмертных врагов. А те два беса, вам известных, хвостов лишившись, крепкую обиду затаили и решились мстить. Но своими руками, то бишь лапами, бесы участвовать не согласны, вроде бы как мыслию

они скорее горазды. Московский наш бес ловок, а эти — хитры-прехитры. Вот и исхитрились они вконец и придумали мщение непростое и наихитрейшее. Пошли на Арбат к бесу, что у работяги-китайца в прачешной лежебочничал (тот и не знал, что привез с собой издалека). Вызвали его да и открылись: вот, дескать, московский бес хочет Черную книгу взять себе, а с ней и власть над всем миром. Тут бес китайский в такое волнение ударился, что мигом помчался к себе да и вынес им лукошко, а в нём — множество мелких бесенят.

И вот забегают московский бес вперед мужика и хочет ему пакость сделать — ножку подставить или грязь-мазут разлить на дороге, как вдруг само натянутую проволоку споткнулся и нос расквасил.

И тут навалилось на него сонмище бесенят, и пошло у них побоище великое. Обыватели середь ночи великий шум слышали, и многие крестились в испуге, понимая, что неспроста это. Храбёр был наш бес московский, да многое множество врагов было, и худо ему пришлось. А два врага его, два прехитрющих беса, рядом стоят, в драку не лезут, только подначивают: «Так его! Так!!» Кутерьма идёт великая, одни хвосты мелькают. Вцепились бесенята в нашего беса, что блохи, ни-почем не пускают. А те два, от нашего московского пострадавшие, улучили миг да и поймали его за хвост, да и всунули хвост его в церковную калитку и накрепко ее захлопнули. И ничего московский бес поделать не может, потому как над калиткой — крест святой, а преступить его он не волен. Тут бесенята китайские нашего беса уловив, выстроились в рядок, свою поганую песню пропели и все дружно, обстоятельно нашего беса того... обгадили с рог до прищемленного хвоста.

Совсем плохо нашему бесу московскому пришлось: до утра просидел он под дождем, измок, иззяб как собака, а утром идет батюшка наш, отец Варсонофий, к ранней службе. Видит: зажат в калитке кто-то неизъяснимо мерзкий. Глазам своим не верит, крестится: «Неуж бес к нам попался?» «Отпусти меня, старичок, — бес-то молит, — что хошь для тебя сделаю, а не отпустишь — в Чеку донесу!» «Ах ты враг Господень! — старичок-то батюшка шамкает. — Ужó я тебе задам!» И давай беса колошматить своим иерусалимским посохом. Тут отец диакон подошел: «Чего-то вы, отче, выдольваете?» «Беса поучаю. Враг он наш, да еще в Чеке служит». «Гм, истинно бес... ужó и я его поленушком!» Взял диакон полено, перекрестил его и нó беса осаживать! Великое посрамление бесу вышло, чуть до смерти его отцы не зашибли, да схитрил враг: перегрыз хвост — и был таков!

Свалился бес в сточную канаву, еле жив, оттуда — в канализацию, и по трубам, с дерьмом и мусором, добрался до дворца самого главного и объявился в сортире. Главный-то только штаны застегнул, как вылазит бес из дерьмового нутра. Главный-то поначалу сдрейфил, но увидел: свой это бес, да драный, смрадный весь, битый и мокрый, на кота дохлого похожий. Тут главный успокоился и даже посмеиваться стал. «Кто это, — спрашивает, — тебя так выволочил?» «Враги твои меня, беса твоего, вконец закрестили, в срамный облик ввели — поп Варсонофий да дьякон Гаврила, прикажи их арестовать». Главный — за телефон и дает распоряжение: попа Варсонофия и дьякона Гаврилу сейчас на Соловки. «А еще, — жалуется бес, — китаец на Арбате работает, дак при нем бес его прижился, прикажи его вон!» Главный дает команду: «Вон его и беса его из Москвы! — Ну, а тебя в награду за усердие прикажу положить в

санаторию для высшего начальства». «Увы, — отвечает бес, — это мне никак не сходно, потому как я адская сила. Ты уж прикажи мне где-нибудь в уголочке упрятаться, теперь я тебе постоянно буду потребен». «Только подальше, — главный говорит, — а то смраден ты нестерпимо!» Бес наш — прыг-скок и за портрет, в паутинку, на исцеление.

Портрет-то тот был непростой, вроде иконы антихристовой, перед ним у главного горела свеча неугасимая, и, сказывают, молился он перед ним в полуночен час по своей черной вере, а чёрт ему помогал, и такое там будто бывало, что и поверить страшно. Ну, да мы люди маленькие, нам лучше помалкивать...

Бес-то московский, он рядом вертится, живуч, подлый — недельку полежал, отлежался и опять пакости чинит. И научил он главного взорвать нашу Сухареву башню! «Взорвешь, — говорит, — башню, и книга рассыплется в прах, и взять ее некому, и власть ни у кого, как у тебя. Но раз нет заклятия, то нет и власти полной и навечно. Конечно, оно и так пока неплохо, но с Черной книгой надежно и напрочно. Потому, — бес говорит, — твоя власть рано или поздно кончится и будешь ты проклят всем живущим, но на твою жизнь с избытком хватит, побольше меня слушайся». «Плохой ты бес, — сердится главный, — что не мог мне Книгу добыть». «Что ж, и на нас, бесов, бывает проруха, а главное, мужик во всем виноват. Кабы не мужик русский, быть книге твоей». «Ладно, я за это мужика укатаю: велю его соединить в колхоз и раскулачить как класс!» «Вот это да! — радуется бес. — Многое нам, чертям, от вас, людей, стóбит перенять. Далеко ты нас превзошел! До такой подлости и я бы не додумался — чтоб кормильца своего так изничтожить! Признаю тебя над собой повелителем, но уж, сам понимаешь, только

тут, а уж там, извини...» «Чёрт с тобой, кем ты мне будешь? Какой пост тебе назначить?» «Давно я имею желание воплотиться в самого расподлеца, у тебя вакансия в Чеке свободна, вот и назначь меня, самая по мне работёнка». На том и поладили.

Устал я, еле язык ворочается, а досказать надо... Что с поэтом стало? А вот что. Поэт наш с пистолетом-револьвером как бежал, так вдруг и остановился: всё впереди него дымом заволочло, маревом неким, куда идти — не знает, тычется во все стороны, словно волчок вертится. И страшный танец вытанцовывает: что-то выкрикивает, пистолетом машет, зубами лязгает, а сам пляшет. Понял он, что наваждение это, и вся жизнь его многогрешная — наваждение, и иудство свое понял, закричал последним криком и бросился бежать. Прибегает к себе в дом, совсем шатается, голова кругом идет, а сердце словно бы чьи-то мохнатые лапы в комок сжали и терзают нестерпимо. Он, чтоб от муки нечеловеческой, неизбежной избавиться, и выпалил себе в сердце, как в беса!

А мужичок-то наш русский? Мужик-то, Никитич, вдруг почувствовал облегчение: легче идти стало и погони нет. Однако совсем вокруг потемнело, позади грохот и вой, а впереди всё огонек маячит. Он идет на огонек. Ближе подходит и — странное дело: будто шел он лесом дремучим, на полянку вышел, и стоит на полянке часовенка, а в ней огонек теплится. Мужик перекрестился и туда вошел. Встает ему навстречу старец древний, как лунь белый. «А я, — говорит, — добрый человек, тебя давно жду». Мужик смотрит: старец лицом ясен, взгляд живой, сам добрый, а вокруг головы сияние. Узнал мужик, — он, Никола Милостивый, крестьянский заступник. Мужик на колени пал. «Восстань, — старец речет. — Ну что, мужичок?» «Да вот...» — хотел мужик объяснить,

что с ним было, и книгу показать, да видит: нет у него в руках ничего — пусто. Старец усмехается: «Или потерял чего?» «Книгу нёс всю дорогу и выронил, видно». «Искать собираешься?» «Не знаю, что и делать, и куда она только делась, ведь в руках была, точно помню, пойду поищу...» «Не трудись, книга та в прах рассыпалась. Всё реченное сбылось, так, как и быть должно. Господи благослови тебя, русского мужика, вечного страдальца!»

И видит мужик: стоит он возле Сухаревой башни, а уж рассвело и люд кой-какой показался, и базар начинает шевелиться, над башней галки гомонят, трамваи звенят, шум дневной начинается; Москва проснулась, пробудилась, снова оживила суета наша мелкая, человеческая, внове день московский и внове довлеет дневи злоба его...

Тут и сказка наша к концу подошла. Только сказка ли, не знаю. Третьего дни отца Варсонофия с диаконом чекисты замели. Вот и судите, милостивые граждане мои московские, чьи это проделки, как не лукавого. Кто это над нами тешится, кто это всё безобразие вытворяет? А я пошел своей дорогой. И потому как мстителен он, то знаю: не простит мне моих разоблачений. Ну да я против него слово знаю: «Сгинь, сгинь и рассыпья!» А главное, братцы, что все мы должны друг за дружку крепко держаться, тогда никакой бес нам не страшен. Вот и я, человек московский, грамотей книжный, вам, други мои, всегда рад и болтовней своей горазд потешить. Дай Бог встретимся! А на меня, дурака-болтуна, не сетуйте. Спасибо за компанию. Счастливо оставаться.

СКАЗ ВОСЬМОЙ

ПРО АНТИХРИСТА И ВРЕМЕНА ПОСЛЕДНИЕ. ПОУЧЕНИЯ ИРИНАРХОВЫ

Об антихристе говорить — наше это русское дело.

Вот чему, в передаче верных людей, поучал батюшка наш, старец Иринарх. Точно его слов не помню, но примерно скажу. А вы терпения наберитесь, потешного сегодня ничего не будет, не любо — не слушай.

Об антихристе вам толкую и о временах последних. Тайна страшная, мировая, глубинная в том, что мы, люди русские, первыми почуем антихристов приход. Имеется предчувствие некое, или намек, что мы его угадаем. Необъяснимо и соблазнительно, и гордыня. Но таков промысл, ибо дыхание антихристово уже коснулось нас.

Мы, русские, первыми антихриста распознаем и для того мы посланы Богом и в том наша история. Есть народы первыми Богом избранные, им суждено было Бога-Слово родить, другим — Его нести и передать, а есть народы последние, вот мы уж из таких — третьим Римом нас величают, а четвертому — не бывать!

На то и ввёл Бог наш народ в историю, чтобы мы антихриста поняли и первыми встали против его козней. Страшно супротив антихриста выйти, и погибель суждена, зато перед Богом — оправдание и слава вечная. Близко нам слово Божие и страх Божий вѣдом, оттого и думаем мы неустанно о днях последних. Раскольники наши, староверцы,

уж триста лет антихриста чуют и знаки его видят. Знаем мы, православные, — близок его приход, — и трепетно содрогаемся.

Верно говорю: в русской земле первой антихристово дыхание обнаружится. Мы первыми антихриста распознаем, но не мы его родим. Антихриста-губителя тот же народ породит, что и Христа Спасителя. А как же иначе? В тех же недрах он созреет, кои истинного Спасителя отвергли, ложного спасителя они и создадут. Их будет семя антихристово, а соблазн — наш и мира всего.

И будет, как святой апостол Иоанн глаголет, а також Матфей: Христос пришед во имя Божие, антихрист приде во имя свое. Христос рек: царствие Мое не от мира сего, антихрист же прорече: царство мое от мира сего. И научит он людей, как жить безбедно и безбожно и тем прельстит многих.

Посмотрите окрест себя, не нечто ли подобное зрим? Про мир голодных и рабов вспомните. Он, детушки, он, его предтеча. И весь мир собою хочет осчастливить, на мѣньшее не согласен, земной рай нам всем хочет дать, а кто не берет, того туда палкой загоняет. А Бог, мол, зачем? Без Него обойдемся! Вот уж поистине гордыня сатанинская! Слабый человек хочет на место Бога встать! Выше Бога! Смешно и страшно. Неуж поверим, что один ученый брадатый всей земле счастье даст? Много было лжепророков, но такого дерзкого еще не бывало. Вот тут-то он, враг, веселится. Обманул-таки нас! Нашел чем прельстить — у меня-де всё по науке. Вместо Бога — наука, она вам всем счастье даст, а Бог Живой вам не нужен, хватит вам мертвой науки. Вот они по науке и поступают. Церкви Божии закрывают, Бога истинного проклинают, молятся на его паршивую бородѣнку. Так и случилось, как по писанному: первыми мы ис-

пытали натиск антихристово войска, смрадное дыхание его пронеслось над Русью — и оскудели грады и веси, и зачахли вертограды Христовы.

Так оно и быть должно. Раз мы первыми антихристово дыхание испытаем, то первыми от него и пострадаем. Страдали-то мы всегда и много, но тут уж пострадаем небывало. Почему же так-то? За что же? Вот за что. Мы Христа ярче всех приняли и мы же от Него ярче всех отречемся и уже отрекаемся. Были мы христоносцы, станем... Да не будет!

Не бывать на Руси царству антихристову! Наше призвание — первыми распознать врага, первыми пострадать от него и первыми вступить с ним в состязание. Знаем мы, что будут лжепророк и зверь. Лжепророк выйдет из стран, Христа забывших, из земли Западной, а зверь, всех клеймящий и праведников распинающий, — откуда? Не из православного же царства! Хоть бьют и гонят у нас веру, а всё ж жива она. И устоим мы и семя зла пересилим! В другом народе тот зверь обнаружится, в народе великом и нехристианском. Тайна великая в том, что несть врагу полного торжества в христианском народе, завет любви Христовой ему мешает. Нужно, чтоб закон зла в народе царствовал и не привилось к нему Евангелие. (Проповедано-то оно по всему свету, да не везде привилось.) Что же народ этот? Желтый это народ. С Востока зверя ждите.

Дерзаю так мыслить, ибо чую антихристов приход, ибо у порога он!

Вот что батюшка-то Иринарх предрек! Тайны глубинные и символы опасные! С Востока, говорит, зверя ждите, а лжепророка — с Запада. Не он один, многие о том полагали. Так-то и герб наш старьей русский, орёл двухглавый, на две стороны был обращен: на Запад смотрел и на Восток.

Так-то и держава наша стоит вечно меж Европой и Азией, и в этом наша тайна и разгадка. Нет, не глупые были раньше люди и во всем большой смысл предполагали. Уж поумнее теперешних, которые герб русский звезде морской пятипалой, или каракатице, уподобили.

После сего толковал старец о последних днях.

Чтоб антихристово время пришло, тут одно условие надобно: чтобы люди Бога забыли. А оно ныне исполняется.

Потому-то стоим мы у порога последних дней. Когда они наступят? Скрыты времена и сроки, но чаю, что скоро. Исчерпался мир в добре и зле и ничто его не поворотит. Ждать будем срока. Говорят иные: ведь не завтра последний день наступит! Нет, любимые мои, — завтра! Где для человека вечность, для Бога — один миг, наш день короток, Божий — длинен. Неизвестны нам времена и сроки, но срок приблизился. Живите со страхом Божьим, как если бы последний день завтра наступил. Верные, крепитесь и полагайтесь на бесконечное милосердие Божье. Потому и не бойтесь. Страшен Суд, да Христос милостив.

Спрашиваете вы: почто ж Господу губить сей мир, Свое творение, доброе весьма, как некогда Содом и Гоморру? Не хочет Бог губить сей мир, ибо не губитель Он, а Спаситель. Не хочет Он испепелять мир, — сам человек свой мир оскверняет и испепеляет, вот в чем вражеский-то умысел! Вот к чему грехи наши ведут! Не ясно ли сказано: перед Судом Божьим попытаются люди устроиться без Бога и сами создать совершенное и справедливое царство на земле, вроде второй Вавилонской башни построить. Но не выйдет, и тем глубже они в отчаянии окунутся во зло. Зло дойдет до последнего предела своего. И решит тогда Господь пере-

делать краткий и несовершенный наш мир и сделать его вечным и совершенным.

Все сие речено в Откровении апостола Иоанна Богослова. Великие тайны и дива дивные открылись ему от Духа Святого. Кто еще и мог сподобиться, кроме любимого ученика Господа! Но как всё свершится, когда настанут времена и сроки, — один Господь ведает.

Быть может, умилюствится Господь и пощадит род людской и не пошлет ему столь страшных кар.

Быть может, так разгневаается Господь, что и Иоанном сказанное малым окажется.

Велик дар пророка и апостола, но Бог один — всеведущ, Он — выше всех. Будем же помнить сие и уповать на милосердие Его.

Всё свершается по предначертанию Божьему, по Его воле и Промыслу. Христос искупил грехопадение, утвердил правду на земле и основал Церковь Свою, но власть имеющего державу смерти не упразднена, и есть князь мира сего, князь зла. Христос принес нам благовест о спасении и дал Свет Истины, Его же тьма не обнимет. Жили прежде люди во тьме, и появился Свет горний. И сей Свет победит тьму!

Но как победит? Человеческим ли устройением? Нет, ибо человек несовершен, а совершен один Бог. И дабы окончательно упразднить тьму и утвердить Свет, придет Спаситель, но не через вторичное воплощение (ибо после Христа воплотиться может только антихрист), а как Царь Славы во всем Могуществе Своем. И скоро, други, скоро, мы узрим Его приход!

И вот тогда будет Свет на веки вечные, и не будет тьмы, ибо во всей вселенной существует только Свет, и упразднится совсем князь тьмы и всё войско его.

Странный вопрос вы мне задаете: «Что же, значит, мир Богу не удался, коли не может на земле добро одолеть зло?»

Я вас спрошу тоже: кто был первым творением Божьим? Адам? Нет. Тот, кто предвременно существовал, кто Еву соблазнил. Змий в райском саду, сиречь диавол.

Тут соблазн для ума наибольший.

Диавол-то кто? Тоже Божье творенье. И создал его Отец Небесный прежде Адама и прежде сотворения мира. Падший он ангел, любимый некогда Богом. За великую гордыню низвергнут Богом, и так появилась тьма.

Безбожно думать, будто Всеблагий Отец наш Господь Сам Себе сотворил врага, а нам — злобу лютую, чтоб Адам искушен был и род человеческий проклят. Сие есть творение отпавшее, частица Божия, самовольно против Бога восставшая и замысел Его самовольно искажающая.

Но так возлюбил Бог человека, что отдал Сына Своего Единородного, дабы искупить грехопадение Адамово.

Но не побежден еще враг рода человеческого. И идет брань великая добра со злом. И в той борьбе крепчает и мужает человек, но и урону немало для слабых душ. Крепнет человек, но и сила дьявольская крепнет, и тому примеры повседневно зрим: полетел человек по небу, как птица, а зла средь нас стало больше.

И вот почему не может человек окончательно устранить зло сам: отпавшее Божье творение Сам Бог-Творец упразднит. И будет так в день Страшного Суда.

Продолжали недоумевать иные, слабые верой, слыша эти старцевы слова. Спрашивали: «Почто ж Бог отдал человека на состязание с диаволом, почто ж не упразднил его власть заранее?»

Отвечал старец: «Не отдавал Бог человека на состязание с дьяволом, а человек сам себе определил участь через грехопадение. Но не оставил Бог человека. Душа в человеке — Божья. Уготовал нам Творец жизнь вечную. Здесь мы только странники, только приуготавливаемся в путь. И спасен будет тот, кто добро приуготовлен. Пройдя юдолю скорби, пройдя плоть и тление, входит душа в обитель горнюю. Адам, первый человек, имел жизнь райскую, туда же все верные вернутся. И есть в этом конец и начало, начало и конец. Иного не мыслю».

И еще добавил старец: «Не задавайтесь вопросами крайними, веру искушающими, не допускайте в душе своей ржавчины сомнений, как один из вас, маловер, только что вопрошал. Выходит по словам его, что коли мир есть творение Божье, то и за неустройство его Бог ответствен. Грех большой он взял на душу: тварь стала спрашивать с Творца! Но еще раз скажу, чтоб не осталось в нем недоумений: Бог дал простор миру, дал ему свою Душу и свой Разум. Так и враг душу свою и разум имеет. И вот душой и разумом своим он вступил в состязание с Богом, а поле той битвы — души людские. Всякое творение Божье вольно в умыслах своих, в любую сторону склониться может: к добру и ко злу, потому что дал Творец творению волю и простор. И столь велика та воля, что в гордой душе переходит она в самоволие. Так отпал некогда любимый ангел Божий и стал в самоволии своим врагом Ему. Такова участь и всех иных самовольцев — все они враги Божьи. И вот стал самовольный враг осквернять всякое творение Божие и высшее из творений Его — человека. И толкнул он первых людей на самоволие, на грехопадение, и так началась борьба тьмы со светом. Но предречен ее исход. Погибнет враг, а с ним все

зло. Перед тем же, в последние дни, власть его будет небывало велика, потому что самоволие распространится в мире. Знает он, что немного ему остается, и потому будет лютовать. И будет казаться, что совсем он победил. И страшен будет вид последних людей, потому что в сердцах их тьма загасит Свет. И крохотная искорка, быть может, одна останется — уж не в детском ли сердце? — и не даст погаснуть Свету, ибо не может тьма победить окончательно. И радостно нам знать это, и ничего не страшно, потому что Господь не отвернется от Им созданного мира — доброго весьма — и даст ему новый облик, совершенный, как Божье Сияние».

Так на что же люди приходят в мир, зачем живут в сей юдоли скорби и греха? Для искушения ли? Нет! Для утверждения Высшей Славы Божьей, для прославления Имени Божьего, для грядущего соцарствия со Христом. И это такая радость, выше которой нет ничего и не может быть! Нет ничего выше Бога, и радость — тому, кто это понял, а иначе — смерть духовная, обездушивание полное, человек, как отблеск Божий, превращается в лишнего человека.

И тогда заговорил старец о неугодных душах.

«Сызмальства я задумывался, почему Бог наш, такой добрый, и допускает, что родятся уроды всякие, безумные, кривые, горбатые, хромые, слепые, глухие, и детки малые в крестьянстве почему мрут как мухи и как котята ненужные? Жалко-то их как! Знаем, что жизнь наша есть юдоль скорби и что страдая живет человек. Так то — человек обычный, созданный по образу и подобию Божьему, а те, уроды, по чьему они образу? Кто их искривил, исказил, затворил те врата, чрез кои в нас входит мир? Да как же они Бога познают, коли слепы и безумны? Станным

мне это казалось — кто же столь зло искажил человеческий облик? Уж не вечный ли искажитель? Вестимо, он. Но почто же получается так? Такова расплата за грех первородный, который вошел в мир и поразили человека и всю тварь. И одно утешение сердцу, что не будет таких в Царствии Божьем, что обрящут все тело воскресшее и преображенное. Но вот деточек-то невинных так жалко!..

Страшно уроды видеть, но то уродство зримое и взору понятное. А души искажение? Кабы души, внутреннее наше, можно было столь же просто обозреть, как внешнее, как бы мы ужаснулись! Тут и кривые, и хромые, и горбатые, и слепые, и глухие! Так где же больше уродства: во внешнем или внутреннем? Вестимо, — во внутреннем, в душе. Плоть наша изменна и брэнна, пройдет сквозь распад и воскресение, душа же неизменна; и душа злая, нераскаянная пребудет веки вечные в уродстве своем, во тьме погубительной до скончания времен.

Как предречено, придут последние времена и останутся последние люди. В этом тайна и намек. Что это за люди? Это — люди лишние, это — души уродливые. Веру забывшие, облик человеческий утратившие, оскотинившиеся, озверившиеся. Просто будут плыть они по течению жизни и просто сходить без Бога. Вся жизнь их будет в ненависти, и чем дальше, тем больше будет их ненависть и потеря в себе святого начала.

Как же так? — вы спросите. Неужто есть лишние для Бога, для милосердия? Безгранично Милосердие Божие, и нет для Него ни лишних, ни избранных среди тех, кто приходит к Нему. Вспомните притчу Христову про пастыря и овцу заблудшую. Все — дети Божьи, все ему дороги. Но есть иные — проклявшие Бога, принявшие врага, они

— лишние. Они сами от души бессмертной отказались в дерзком самоволии своем. И лишит их Бог душ! Ни воскресения, ни прихода Спасителя, ни грозного Суда Его они не узнают — как прах истлеют. Их жизнь — уже смерть, а смерть их — есть смерть вторая.

Дерзаю на сии слова, ибо, как во времена апостольские, время близко. Прости, Господи, согрешения мои!

Всех, всех Господь рассудит по делам и помыслам их, и даже неверных, сомневающихся среди них, даже татей и злыдней и многих раскаявшихся простит в бесконечном Милосердии Своем. Но проклявших Его отринет Бог из сердца Своего, и тьма их ждет и пустота во веки вечные! И много уже таких, лишних, в ком чувства животные и страсти диавольские и нет сердца человеческого. Много! Их-то и возьмет в легкую добычу князь мира сего. Без них-то он ничто, он ими силен. Ненавидеть будут лишние праведных, и бить, и гнать, и мучить. И мало кто спасется. Вы, праведные, приуготовляйтесь к пути крестному!

Но вот придет день последний, придет, как «тать в нощи», и явится миру Утешитель и Спаситель в сияющих ризах, в Фаворском сиянии. И тогда в один миг всё прейдет. Всё, что мы мнили ценным и великим, чем в жизни услаждались, чего домогались и людей обижали, чему радовались и чем печалились — всё уйдет, ничего не будет, кроме Совершенного Лица Божьего.

Многое мы знаем, ведома нам Благая Весть Господа нашего Иисуса Христа, но не всё. А в тот час мы будем знать всё, всё до последнего! Узнаем мы Высшие Тайны Божии и познаем, зачем всё было так и весь замысел Божий. И что тогда будет — несказанно, выше это ума человеческого! Дерзаю я жалко лепетать и проклиная дерзкий язык

своей. Прости меня, Господи! Помолимся, други!»

И чего сказываю? Препустейший ведь я человек, никакой во мне основательности, враль я московский. А вот всё складываю и чего для? Передаю вам поучения угодника нового старца Иринарха. Славы мне, что ли? Куда такому нескладному! И вот ведь о чем говорим, о каких высоких материях рассуждаем: о Боге, о конце мира, об антихристе — не меньше, о вещах великих, а сами в жалком ничтожестве пребываем, живем в крайней мизерности, при подвальной образе жизни, на торжище людском толчемся, муравьи незаметные. А вот уж — судьбы народов решаем, куда там! — судьбы мира, а сами... Куда взял! А надо говорить, Валаамова ослица и та заголосила...

На той последней беседе Иринарха с верными своими вспомнил старец про ту ослицу и себя с ней сравнил: никогда-де он не говорил и не проповедовал, а вот разобрало его перед близкой разлукой, и поведал он нам одну историю, с ним в молодости случившуюся.

«Я тогда проходил обет молчания, наложенный на меня наставником моим, и работал в хлебне. Целый день в занятии, помолиться некогда. И еще сторонился я люда, а у нас в монастыре всегда гостей жило довольно, богомольцев со всех сторон. Уж поздно было ночью, пробираюсь я из хлебни в свою келейку и вижу: распахнуты врата Успенского храма, главной нашей святыни.

Странно мне сие показалось — на ночь, когда службы нет, храм запирался. Вошел я. Темно в храме, пустынно, еле лампадки у икон светятся, а иные погасли. Прошел я немного вперед и чуть о кого-то не споткнулся. Думал — молится человек, перед Богом простерся. Пригляделся — без памяти лежит. Я его из храма вынес и у паперти на скамеечку посадил. Там фонарь у нас горел.

Узнал я его — философ это был знаменитый, очень его у нас в монастыре все любили, и ему гостить у нас нравилось. На воздухе он отдышался, в себя пришел, спрашивает меня: «Что со мной было?» А я ответить не могу, палец к губам прикладываю. «А, знаю, — говорит, — ты молчальник, помню. А они где?» И при этом вопросе затрясся весь. Я его за руку взял, а он ко мне подался и шепчет: «Я его видел!» Понял я, о ком он, и перекрестился. Он тоже стал креститься и, вижу, плачет. Я бы хотел его утешить ласковым словом, да не могу, не дано мне говорить, а он совсем как ребенок ко мне прижался и всё плачет так горестно, что и я с ним заплакал.

Стало мне его жалко, что он такой человек громкий и так распинается предо мною, а я ведь кто? — монашек убогий и безвестный. «Брат, — говорит, — я тебе всё открою, потому что ты молчальник и не проговоришься».

И пошли мы с ним рядышком. Из монастырских ворот вышли, идем по нашей дороге, она у нас в соснах проходит, мягкая, песчаная, иглами усыпана, светлячки обочины усеяли, лунный свет дорогу полосами пересекает, — и так-то хорошо, и благостно, и тихо, и величаво, как во храме. А философ мне говорит: «Он меня давно преследует, я его часто вижу. Он мне за всё отомстит, сожрет меня!» И рассказывает: «Лег я было спать, но не спится, голос какой-то мне шепчет: ступай во храм Пресвятыя Богородицы. Иду. Всегда на ночь ворота закрыты, тут обе половинки распахнуты. Вошел я и встал среди храма на колени. Не знаю, сколько времени так простоял... И начинает мне казаться, что есть возле меня кто-то незримый. Оборачиваюсь — нет никого, а вроде бы какой-то шорох и дуновение. И чудится мне, что есть кто-то в алтаре, и начинаются какие-то пригото-

ния. И вдруг свет в алтаре засветился, но странный какой-то свет, не свечной, теплый, а холодный, синий. И лампадки перед иконами синим огнем вспыхнули. И отворяются царские врата и вся церковь заливается фосфорическим сиянием. И видно мне, как выходит он, в черной ризе и черной тиаре римского первосвященника. А за ним по чину сатанинские кардиналы и епископы и всё черное духовенство. И заполняют они храм всё гуще и гуще, так что живого места нет, а они всё прибывают и прибывают.

Один я стою на коленях в кругу, и они меня не задевают, но от их одеяний до меня доходит зябкое дуновение. Остановился черный папа позади меня и начинает служить по мне лжепанихиду, черную мессу. И хор ему подпевает: кто «аве», кто кошкой пищит, кто сорокой стрекочет, а какой-то баловник на разлаженной фисгармонии бубнит и фальшивит нестерпимо. И все эти чернослужители, что рядом стоят, как-то странно возглашают: «Помянем, помянем раба чёртова, имярек, ох-ох, чтоб он сдох!» А хор подпевает: «Сукин сын, сукин сын!», и визжит, и мяучит при этом.

Долго они так меня отпевали, потом он говорит мне: «Восстань, раб чёртов!» Я встал. Стоит он передо мной на возвышении: «Проповедь вам прочту». И все вокруг орут, и не поймешь, что. «Только что мы отпели нашего непримиримого врага. Он много нанес нам вреда, но мы извиним его незнанием, ибо не ведал он, что мое царствие близко, ближе, чем иные полагают. И будет место сие пусто! — и ударил посохом об пол, и гром потряс храм, и заплакал где-то ребенок жалобно. — И будешь ты, как многие славные ныне, проклят как собака, ныне, присно и во веки веков. Аминь и чёрт с ним! Подведите меня к нему», — гово-

рит, и двое служек в фосфорических одеяниях ведут его под руки на меня. «А-а, — говорит, — про антихриста пишешь? Вот тебе за антихриста!» Поднял посох, и сверкнули три синие молнии и пронзили меня насквозь, и я умер, сторел сердцем, думал, что умер, пока ты меня не поднял».

Тут философ остановился и так-то странно на меня посмотрел — лицо у него бледное в лунном свете и глаза огнем фосфорическим горят. Право, жутко мне стало. «А ведь это чепуха! — говорит. — Это мне привиделось потому, что я Гоголя вспомнил». Да как захохочет. А смех у него был резкий, крикливый и по всему лесу отдался, возбуждал он ночных птиц, и над самыми нашими головами захохотал кто-то и захлопал крыльями. Философ опять меня за руку схватил, затрясся и шепчет: «Нет, нет, он тут, всё это была правда, знаю!»

Чудно́ мне было и странно, что такое могло привидеться в стенах святого храма, что нечистый там обедню служил — грешно помыслить такое! Иное было странно — кто врата открыл, и еще более странно — паникадило ночью рухнуло.

Философ как узнал об этом, — весь больной от нас уехал. Помер он вскоре. Перед отъездом своим велел меня вызвать. Я по обыкновению в хлебне работал, весь белый в муке вышел. Он посмеялся: любил шутить, а добр и прост был — ребенок малый. Но посерьезнел. Обнял меня и на ухо шепнул: «А про него помни!» С тем и уехал.

Недоумевали многие в монастыре, почему такой славный человек вдруг меня избрал, а спросить не могут — молчу я. Только после сего начался для меня соблазн. Слух нелепый обо мне прошел, стали приезжать разные господа на меня взглянуть, за ними простой народ потянулся, об-

ступают, прохода не дают. Игумен меня с работы снял, повелел книжным делом заниматься и к народу выходить. А потом я старцем стал, и много было соблазну к славолюбию и гордыне. Ну, да Господь милостив и обратил вскорости меня в малость, коей и всегда быв».

Вот что рассказал старец своим верным. А уж ночью глухой тайно подъехала к их дому повозка, чтобы старца увезти. Слёзно прощались они с Алёшей.

Спрашивал Алёша отца своего духовного: «Отче, пошто стало так на русской земле, что гонят нас и преследуют? пошто губят святую православную Церковь: не дóбро ли наше слово?»

И ответил старец: «Правда Божья, сыне, столкнулась с правдой человеческой». «Разве две их правды, отче?» «Две их правды, две. Одна правда — Божья, она в жизни с Богом, наша правда, другая — для нас лжеправда, для них правда — безбожья. Это когда человек такой высоты ума достигнет, что полагает самовольно, будто Бог ему помеха и всё в мире может он разрешить сам. Одна правда Христова, другая — против Христа, сиречь антихристова та правда». «Страшно, отче!» «Уж так-то страшно, что и не вымолвить. Бьются две правды, и каждая себя правдой считает. У нас своя правда, у них своя. Мы от своего не отступимся, но и они отступаться не хотят.

Всё сбывается, как писано. Создадут люди свою правду и ей одной поверят. Отрекутся от Христа и проклянут Его, и возлюбят антихриста, и станут ему поклоняться, и бысть смута, глад, мор и трус и неустройство великое. А нас, тех, кто со Христом, останется горстка малая, и будут нас бить, зашатавать и оплевывать и казнить смертью лютою. Всё сбывается, но неизреченны времена и сроки и неведомо нам, в коей день». «Что же де-

лать нам, отче?» «Молиться, сыне мой возлюбленный, и за веру святую стоять насмерть. Молиться надо за весь мир. А за себя не молитесь, стыдно сие. За спасение мира стойте на молитве. Господа молитесь, чтобы гнев Он свой умерил и хоть детишек малых пощадил. Он добрый, Он услышит. Сыне мой, прозреваю приближение дней погибельных. Благословляю тебя, сыне, иди к Сергию Преподобному. Сам бы пошел с тобой, да трухляв гриб и негодна моя жертва». «Как к Сергию? там и обители нет?» — вопрошал Алёша. «Не оскудел Сергиев святой кладезь, и тебе из него — живой воды пить. Свой путь у тебя, Алёша, им иди. Возрос ты, возмужал, вступай с миром в состязание. Прозреваю в тебе великого богатыря веры Христовой. Настали времена, когда вера христианская вновь будет украснена мученичеством. Знаю, всё знаю. За веру святую стой насмерть». «Что говоришь, отче? Объяснись!» «Ничего не скажу тебе, сыне. Всё свершится по воле Божьей». «Как покину тебя?» «В скрытню удалюсь. Нет в мире мне места. Великий есмь грешник и несть мне прощения». «Отче, пошто унижаешься?» «Знаю, всё знаю. Мерзок есмь, аки кал смердящий. Лица людского зрети недостоин. Скоро предстану пред Господом и за всё ответ понесу. А тебе, Алёша, не в скрытню путь. Тебя Господь в мир посылает. Дал Он тебе душу неколебимую и чистоту ангельскую. Избран ты на великий путь, и ждет тебя радость горняя: сподобишься участи Христовых страстотерпцев и воссядешь одесную престола Божия. Благословляю тебя». И со слезами старец благословил юношу.

Благословил старец Алёшу и совсем было идти собрался. Да приостановился. «Алёшенька!» — позвал. Бросился к нему Алёша, обнял старца, плачет, и старец плачет. «Вспомни-ка, Алёшенька,

— старец шепчет, — каково Господу-то было, когда посылал Он в мир Сына Своего Возлюбленного. Так то наша скорбь что́! Знал Он, всё знал, а послал ведь! Отцу-то как это не понять! Как тяжело сына своего на страсти и муки отдать! И рад бы взять тебя с собой, от мира укрыть, от зла схоронить, так что мочи нет, но вспомню про Господа, Который Сына Своего Единородного не пожалел, и проклиная грешную слабость свою. Так-то мне жалко тебя, так-то сердце болит, смерти хужее... Знаю, что тебя ждет, да надо так. И сын мой, Алёшенька, нужен миру. Иди смело в мир, сын мой, не смущайся скорбью моею. Должен ты прославить веру Христову, и радостно мне, отцу твоему духовному, что я тебя на путь сей благословил! Да вот сердце-то плачет, стар я совсем, дряхл, как ребенок малый плачу вот... Да как же горе выплакать, ведь и Господь-то плакал по Сыне Своем...»

Что-то и я расстроился... Всё я вам сказки рассказывал, друзья хорошие, а сегодня не тот разговор был. Оно верно: мне сказка дорога, люблю я их измышлять, да и как вас не потешить ума хитросплетениями? А про Алёшу и Иринарха — это уж не сказка, а житие, да не мастер я их складывать, вот и округляюсь. Наговорился я всласть, наказал вам больше, чем от себя ожидал, так что сам удивляюсь, откуда всё и взялось. Ну, да, наверное, надо так. Низко всем кланяюсь. Спасибо за компанию. Счастливо оставаться.

СКАЗ ДЕВЯТЫЙ

ПРО СТРАСТИ АЛЕКСИЯ, НОВОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА МОСКОВСКОГО

Всё-то я вам врал, государи мои, люди московские, про беса сочинял и иные сказки, а ныне скажу подлинную правду. Уж не до бесов тут, не до смешков, самые серьезные дела начались. Вот в чем дело: старца-то батюшку Иринарха мы, люди русские, уберегли, а Алёшу — не сумели. Перед расставанием горьким благословил старец юношу и велел ему идти к Сергию Преподобному. Предрек он, что внове выйdet из святой обители Сергиевой спасение земли русской. И увезли Иринарха в скрытню верные люди. А Алёша надумал напоследок навестить Марию, свою жену духовную. Был ему внутренний голос, не иначе ангел-хранитель его остерегал: не ходи! Да не мог не пойти Алёша, не мог он так просто расстаться, совесть ему не позволила, знал про опасность, но пренебрёг. Что ж, и мы, — люди не святые, — часто поступаем не по уму, а по сердцу, вот и я, помело Божье, знаю, что не болтать бы мне, время не то, а вот не могу, надо ж кому-то правду сказать, а потом — хошь режь!

Вот и пришел Алёша к своей духовной жене, а кто она такая была, я уже сказывал. Жила она у старушек одних, тоже монашек. Знал ее собака, чужой сын, и велел держать под тайным надзором. Она это-то заметила, и только Алёша вошел, возрыдала от счастья и горя: «Милый, зачем пришел, тут они, уходи, уходи!» Да уж

поздно — чекисты следом ворвались и Алёшу схватили. Повели его, она рыдает, волосы на себе рвет, руки к нему простирает: «Из-за меня, — кричит, — из-за меня ты погиб!» «Не терзайся, — отвечает Алёша, — так Богом суждено». Больше ему сказать ничего не дали, сразу запихнули в черный воронок. И повезли Алёшу в место на Москве пригнопамятное, на Лубянку поганую.

Вызывают Алёшу на допрос, задают вопросы по форме: кто такой да чем занимаетесь. А потом спрашивают: «Знаете ли вы Семена Галкина?» «Нет, — отвечает Алёша, — а знаю я святого мужа старца Иринарха». «Для нас это одно и то же. Где он сейчас?» «Ничего я вам не скажу». «Мы знаем, что его увезли из Москвы. Кто его увез? Куда? Назовите имена своих сообщников». «Нет». Стали они его улещивать и угрожать — ничего поделать не могут. Тогда придумали ему пытку мученическую, какую и бесу не выдумать. Стула-то в комнате нет, стоит Алёша посередь комнаты, а его допросчик за столом сидит, папироску курит. Один подпрашивает, другой ему на смену идет. «Ну как, будете говорить? Кто же ваши сообщники? Назовите фамилии!» Алёша стоит, молитвы Богу возносит. Второй свою смену отдежурил, третий приходит. День да ночь — сутки прочь. А Алёша стоит. Стоит насмерть!

Трое суток этак-то! Без еды, без питья, окаменел весь, стоит белый, как соляной столп, глаза закрыты и только в уме молитву творит. Уж на него со всей Чеки приходят смотреть. Иные пробуют — для смеха — его сдвинуть, но качается он, а не падает. Пытаются его спросить — ничего не отвечает. Тогда какой-то начальник говорит: отведите его в камеру, он дар речи потерял. Хотят Алёшу вести, а у него ноги не движутся, закаче-

нели. Под руки взяли и в каземат его приволокли, там Алёша на полу уснул.

Спал Алёша как мертвый, а пока спал — хошь режь его — зашел врач со шприц-иглой и сделал ему хитрый укол: влил такое снадобье, после которого всё, что у тебя на уме, выдашь хуже пьяного. Впрочем, недолго дали спать Алёше, часа два всего, и опять его на допрос, в другой кабинет, к умному чекисту, умнее которого во всей Чеке не было. Вводят Алёшу в кабинет, сидит там такой очкастый человек, на профессора похож, лицо доброе и улыбается весело. «Присаживайтесь, пожалуйста», — говорит и стул предлагает, и всё так вежливо, извиняется постоянно. «Извините, — говорит, — что вас потревожили. Вы не успели поесть — пожалуйста», — и предлагает Алёше стакан чаю и бутерброд. Алёша только глоток чаю отпил, а еду не тронул. «Да вы кушайте, не стесняйтесь. Мы ведь тоже люди и ваше состояние по-человечески понимаем. Кушайте, прошу вас!» Но Алёша на эти слова ласковые не поддался. «Конечно, — говорит следователь, — я понимаю, вас заставили трое суток простоять на ногах, это безобразие, я распоряжусь, чтобы виновные понесли наказание. Скажите, как вы сумели такое выдержать? Я читал где-то, что человек больше суток стоя не переносит, а вы — трое!» «Я молился», — отвечает Алёша. «Я так и думал. Нужна большая сила убежденности, чтобы выдержать. Вы — человек убежденный, а мы, революционеры, таких людей уважаем. Идеология у нас разная, но твердость характера одинаковая, русская. Вот и давайте поговорим как русские люди, ведь все мы сыны одной матери-родины». «Сыны, да разные, — отвечает Алёша, всегда-то он молчаливый и не хочется ему говорить, да что-то изнутри его подталкивает, язык развязывает, — есть родные сы-

ны, а есть чужие приемьши, есть пшеница, а есть и плевелы». «Ну зачем нам писание вспоминать. Я Библию знаю не хуже вас, в тюрьме при царском режиме сидел в одиночке и чуть не выучил наизусть и, знаете, временами чувствовал, что я к Богу подошел, но вот какой-то грани не могу перейти, диалектический материализм не позволяет. Потом, когда меня на казнь повели (а меня к виселице присудили), о чем, вы полагаете, я думал? — о Боге! Есть ли Он и что меня ждет впереди? Ничто или жизнь вечная, пусть в огне, в аду, но хоть какая-то жизнь! От исповеди перед казнью мы все, конечно, отказались, а тут непроизвольно в голове проносятся слова молитвы «Отче наш, иже еси на небесех...» И не хочешь, а сами собой слова повторяются. Надели нам на головы мешки, подвели под виселицу на красную смерть, офицер команду дает: «Готовсь!» (чтоб из-под ног скамейку выбить). Странное, знаете ли, было состояние, душа с телом расставалась, вдруг крик: «Отставить!» Это уж так у них было разыграно, развязали нас, мешки сняли, прочли именно повеление на каторгу...» Тут умный чекист закашлялся чохоточно, видно, не даром ему каторга обошлась.

Алёша всё выслушал и спрашивает: «Зачем же вы здесь служите?» «А разве лучше было бы, если б другой на моем месте сидел? Несправедливостей у нас и без того много делается, так надо же и в злом месте делать добро. Ну, да себя хвалить не стану, а скажите мне: как по-вашему? кто меня тогда спас, когда я молитву перед казнью читал, — Бог?» «Если то, что вы сказали, — правда, то — Бог!» — отвечает Алёша. «И знаете, о чем я тогда подумал? Если вдруг случится чудо и мне сохранится жизнь, я буду жить иначе, чище, лучше, умнее. Чудо, как видите, случилось, но не могу сказать, что я стал от этого лучше. Но если вы пола-

гаете, что Бог мне помог, хотя, скажу честно, я в Бога не верю, всё же пусть не неведомой силе, а этому символу я обязан: ведь я же к Нему обращался за помощью, вот я и хочу воздать Ему сторицей — освободить вас».

Ну ладно, братцы, пошел я. Да нет, и не просите, в другой раз... всё вы сразу хотите узнать, никакого терпения в вас нет, да еще рюмочкой соблазняйте, знаете, что слаб человек, а искуситель силен. Эх, была не была!

Да... И продолжает умный чекист: «Я, — говорит, — для того и взял ваше дело, и больших трудов мне это стоило, чтобы воздать Богу Божье, как говорится... Скажите, Алёша (ишь, по имени стал называть!), родители ваши кто по социальному происхождению?» «Крестьяне». «И бедные, наверное?» «Да». «А какой бывшей губернии?» «Тамбовской». «Почти земляки мы с вами, я — воронежский». Алёша молчит, сам он добрый и доброму слову рад идти навстречу, да не верится ему... А добрый чекист продолжает: «Вы ведь по происхождению из самой бедноты, а мы таких не арестовываем. Ваш арест — ошибка, не разобрались, где следует, я должен за них извиниться. Сейчас вам заготовят пропуск», — и на звонок нажимает. Входит барышня-секретарша. «Заготовьте, пожалуйста, — ей говорит, — пропуск гражданину такому-то». «Хорошо», — она отвечает и уходит. «Ну вот, Алёша, и всё в порядке. Пока вам пропуск выписывают, давайте немного поговорим. Простите за нескромность: вы монах?» «Нет». «Нет? — удивляется умный-то. — Я плохо понимаю все ступени посвящения в монашество... если вы не монах, то как вас называть?» «Я послушник». «А при старце Иринархе вы кем считались?» «Был келейником». «А келейник это кто?» «Это молодой послушник, который живет при старце и

ему прислуживает». «Можно сказать, вроде как ученик? Кстати, как вы, Алёша, попали к старцу в ученики? Ведь к нему, наверное, многие стремились, а он вас одного выбрал». «Не знаю, почему, — отвечает Алёша, — я с детства при монастыре жил, родители меня отдали по обету, я и жил». «При старце Иринархе?» «Да, с ним». «А в Москву вы как попали?» «Монастырь закрыли, мы и попали в Москву, старца святейший звал». «А дальше?» «Жили мы сначала на патриаршем подворье. Потом вы святейшего патриарха погубили... — (Умный чекист при этих словах протестующе покачал головой и улыбнулся, но перебивать Алёшу не стал.) — Я сапожничать стал и тем отца питал...» «Это возле Сухаревки?» «Да». «Там какая-то церковь есть рядом, забыл название...» «Николы...» «Она служит?» «Нет, ее закрыли давно». «А в какую церковь вы ездите молиться?» Тут Алёша впервые глаза поднял и на умного чекиста очень пристально взглянул. «Мы на дому молились, отец стар очень». «Но ведь полагается, кажется, чтобы к верующим людям священник приходил для исповеди или еще зачем. К вам какой-нибудь священник приходил?» Молчит Алёша. «Отец Варсонофрий, или еще кто...» — чекист продолжает. Тут Алёша взглянул умному чекисту твердо в глаза, тот их под очки прячет, и знакомый огонек в них чудится...

Понял умный чекист, что Алёша о нем думает, и говорит ласково, с укоризной: «Вы думаете, я вас на чем-то поймать хочу? Нам и так известны все, кто к вам ходил. Никакой тайны тут нет, — и перечисляет имена-фамилии. — Ведь верно?» Алёша молчит. Тогда чекист звонит. Входит барышня-секретарша. «Готов пропуск?» «Да, вот он». «Оставьте», — и та уходит. «Ну вот, видите, я вас не обманываю. Арестовывать вас не за что, и сей-

час вы будете свободны. Вы являетесь лишь свидетелем, и по существующим правилам должны мы с вами выполнить небольшую формальность: составить протокол свидетельского допроса. Вам надо ответить на некоторые вопросы, самые простые: знали ли вы старца Иринарха? как давно? кто к вам приходил? Впрочем, я всё это уже знаю и сейчас напишу на листке, а вы только подпишите». «Нет», — говорит Алёша очень категорично. «Ну, тогда вы сами скажите мне, что написать. Ведь поймите, что иначе нельзя — без протокола». «Ничего я вам не скажу». «Извините, Алёша, я вас не понимаю, вы верующий человек и собираетесь лгать!» «Я вам ничего не скажу». «Но не говорить правду означает лгать». «Иуда сказал правду...» «Да, а Петр трижды солгал и спасся. Знаю я, Алёша, эту поговорку, но она тут ни при чем. Поймите же, друг мой, — (ишь, как заговорил!), — нельзя нам без протокола. Какой-то документ должен быть составлен. Без этой формальности не обойтись, так положено. Подпишите — и вы свободны». «Вы меня обмануть хотите, — говорит Алёша, — добром взять, да добро ваше хуже зла, палачи вас честнее».

Тут умный чекист только руками развел, встал из-за стола и прошел в угол, из графина воды выпить — совсем замаялся. «Ах, Алёша, — говорит. — Посмотрите, вот вам пропуск, обманываю ли я вас? Вы пока посидите здесь, подумайте спокойно, а я отлучусь ненадолго». Сам ушел, а на его место вошел конвойный — за Алёшей дежурить.

Видит конвойный — неладно что-то с арестантом. Подходит к нему, а тот трясется весь, лицо белее мела сделалось, глаза закрыты и губы что-то шепчут. Чекист-конвойный его встряхнул легонько. «Что с вами?» — спрашивает и воду ему дал. Алёша в себя пришел и тихо молвит: «Я за вас

молился». «За кого за нас?» «За вас, людей зла, пусть Господь вас помилует, если может». «Да чего за нас молиться? — конвойный засмеялся было. — Нам Бог не нужен!» «Да, — говорит Алёша, — прокляты вы Богом и людьми и жестокая вам будет кара, такая жестокая, что я, почуяв ее, содрогнулся. И семья ваша будет проклято на семь колен, а мне ваших невинных детишек стало жалко. За них надо молиться. И еще надо молиться за весь русский народ, который вашу кару примет на себя, за то, что допустил вас и не уберется соблазна. Детки ни в чем не виноваты».

Конвойный задумался. Мálый он был простой, деревенский, крепко ему Алёшины слова в голову западали, никак из головы не выходили. Пробовал он совесть вином глушить, до белой горячки допился, из Чеки его выперли, с босяками-хитрованцами спознался, у нас на Сухаревке ошивался — от него-то мы всю эту историю знаем.

Пришел умный чекист, спрашивает: «Ну как, Алёша, надумали?» «Нет». «Устали вы, отдохните, а утром мы с вами на свежую голову эту глупую бумажку подпишем, и пойдете вы к своей жене, а то она целыми днями у нашего подъезда стоит, ее пожалейте».

Только Алёшу увели, чекист со злости графин об стенку хлопнул. Вызывает к себе врача-профессора и кричит на него: «Что ж ты, старый хрен, такая мать, обманываешь?! Да я тебя за вредительство!.. Ничем твой порошок не помог!» «Странно, — отвечает, — всегда помогал, вон Мотька-бандит в один приём раскололся и всю малину заложил...» «Проваливай с глаз долой и чтоб изобрел порошок лучшей!»

Утром новое мытарство начинается. Опять вызывает Алёшу добрый следователь и ласковую речь ведет. «Я уважаю вас, Алёша, вы стойкий и сме-

лый человек, и я также уважаю ваши убеждения. Они вам большую силу дают. Так, наверное, вели себя первые христиане. И наши революционеры тоже смело держались в царской охранке. У нас в России всегда были смелые люди, которые за свои убеждения шли на смерть. Возьмите раскольников, протопопа Аввакума или боярыню Морозову. Но они шли против истории, а вернее, история шла против них. Так вот поймите меня правильно, Алёша, вы и ваш учитель Иринарх идете против истории. Вы хотите служить прошлому, тому, что ушло, хорошо оно было или плохо, не будем спорить, но уже не вернется. Да, вы — сильные люди, но сила ваша расходуется впустую. На самом деле ваш путь — путь бессилия. Вы можете пострадать, погибнуть, и ваша совесть будет чиста, потому что вы считаете, что тем служите Богу. Но кому нужна эта жертва? Ну, пусть всякая жертва Богу угодна, но ведь не бесплодная жертва?»

Слушает Алёша, и опять что-то такое знакомое ему чудится...

А добрый следователь продолжает: «Вам не нравится новое, как и всем религиозным людям. Скажу вам честно, Алёша, в нашем новом мире многое плохо, и вот то, что вы сидите в Чека и мне приходится вас допрашивать — тоже плохо. Это потому, Алёша, что мы еще не знаем, как строить новую жизнь и совершаем слишком много ошибок, а зло ведь трудно простить. Но одно ясно, Алёша, — жизнь должна стать новой, лучшей! Очень трудно сделать ее такой, но я верю, что она будет такой! Вы очень молоды, Алёша, и не видели жизни. Вы знали своего старца, посты и молитвы, а чем живет мир — не знаете». «Мир живет злом». «Нет, Алёша, нет. В мире не одни злые люди, и вы это знаете, вспомните своего старца и других людей, которых вы любите. Вы хотите сказать, что

мир погряз во зле? Да, верно, но надо помочь ему покончить со злом». «Допустив еще бóльшее зло». «Да, уничтожив зло злом!» «Зло через зло не уничтожишь». «Да, об этом еще Толстой говорил, не будем спорить. Мы чего хотим, Алёша, чего добиваемся любыми путями: сделать зло меньшим, если не совсем уничтожить, и чтобы люди жили лучше. Разве человек должен обязательно страдать? Разве это Богу угодно? Пусть люди живут счастливо на земле, а встретят ли они загробную жизнь или нет, это уже вопрос человеческой веры. Разве вы не хотите, Алёша, чтобы люди жили лучше? Ну скажите? Ах, Алёша, вы совсем молоды и уже стремитесь в мученики, а мне бы хотелось показать вам ваших сверстников, чтобы вы посмотрели, как они работают, чем живут. Знаете что, давайте поедem к молодежи, сегодня интересный диспут, будут выступать поэты. Поедемте?» — и достает из кармана папиросы-гвоздики.

Алёша всё понял. Он встал и произнес:

— Отойди от меня, сатана!

— Что?! — оторопел следователь.

— Ты — бес лукавый. Заклинаю тебя именем Бога Живаго, Господа моего Иисуса Христа — сгинь и рассыпья в прах!

И только произнес он это, как следователь весь красный сделался, захрипел: «На помощь!», за грудь схватился, рухнул на пол и тут же дух испустил.

И вылетел из фальшивой оболочки, из куклы восковой, всё он же — московский наш бес. Как ни хотели мы от него избавиться, — никак не получается. Не покидает бес наше повествование. Сами посудите: кто ж еще такие умные да ласковые речи мог вести, кроме беса? Вылетел бес и еще Алёше грозитя: «Теперь тебе смерти не миновать!»

Тут конвой вбегает, видит — начальника кондрашкахватила, и на Алёшу кричат: «Это из-за тебя он, контра!» Тут же мнимому начальнику — похороны по первому разряду и во всех газетах пропечатали: «Еще один сторел на работе, не пощадил своей жизни в борьбе с врагами народа». А бес-то смеется и хихикает: «Вот как они меня отпевают! Ну да еще не такое будет! Я так хитро воплощусь, — нипочем не разоблачишь».

После сего новые страсти Алёшины начались. Долго и тягостно сказывать, други любезные, как таскали его по допросам, как допытывались и грозили по-всякому. Со всех сторон к нему подходили — ничего поделать не могут. Говорят: сейчас мы вам очную ставку дадим. Вводят отца Варсонофия, обстриженного наго, в халате тюремном. Алёша к нему: «Благослови, отче!» Варсонофий тихо: «Не могу, руки перебиты». Поняли они, что у них осечка вышла. Вводят дьякона отца Гаврилу. Тот увидел Алёшу и слезами залился: «Соблюдил я ока-янный! Мук не выдержал, всех оговорил! Прости, Алёша!» И бух — в ноги! Поняли они, что и тут у них осечка вышла. Злятся, убить Алёшу готовы, зверски замучить, а сделать ничего не могут: нужен им Алёша, он один может назвать нужные имена. Да не говорит Алёша, стоит насмерть!

Сдались допросчики, говорят: «Ну, мы свое дело сделали. Много мы всякой контры встречали, но такой крепкой, как ты, не видали. А ведь придется тебе, друг наш Алёшенька, рассказать всё про Черную книгу и всех, кто с этим делом связан. Мы бы, — говорят, — тебя, щенка, сами отделили, да есть у нас мастера — у них запоешь! И еще хочет видеть тебя одно высокое лицо...»

А «лицо» это, братцы, был «чужой сын»!

Нет, братцы, увольте! Как хотите, — не могу! Что толку, если спешить буду, лучше в другой

раз пространнее доскажу. Не держите меня, право слово. Ну, рюмочку, и тогда уж недлинно. Вон, видите, сидит длинноухий, чегой-то выслушивает. Шел бы ты отсюда, мил-человек! Запри-ка дверь, хозяин, да штофчик нам поставь, оно и веселее будет. А разговор наш совсем не веселый.

...Вот и встретились родной сын, да чужой, и чужой, да родной. Ведут Алёшу на допрос к большому начальнику. «Ну здравствуй, — говорит, — названный братец! Как ни крути, а вроде как братаны мы с тобой по неродному отцу: я — по матери, ты — по Богу. Так, что ли?» «Да, так», — отвечает Алёша. «Для полного семейного комплекта только папаши не хватает. Убёг старый хрен. Давненько я до вас, людей Божьих, добираюсь, но прежде не давались вы мне в руки, а теперь настали наши времена и полная нам чекистская воля. Ну, признавайся, любезный братец, куда ты папашу схоронил?» Алёша молчит. «Чего молчишь? Знаю, что многие тебя допрашивали и лучший наш работник из-за тебя погиб, да ты никому не сказал, а мне скажешь. Бить тебя не буду, я рук не пачкаю, я тебя по-другому начну мучить. Как ты полагаешь, за что я отца своего, Семёна Галкина, повашему Иринарха, ненавижу?» «За то, что он добр, — отвечает Алёша, — а ты не можешь быть добрым; ты хотел бы быть его сыном, да не можешь, за обиду эту и мстишь». «Правильно понял меня. Не могу я быть таким хорошим, как вы, святые, за то и мщу. Он против меня виноват и прав остался, а я обижен, я прав — и виноват! За несправедливость мщу!» «Ты сам добро от себя оттолкнул, кого же тебе винить, кроме себя?» «Нет, он это, он меня с чрева матери во зло толкнул, злое семя вложил, и с тем проклятием я через жизнь иду!» «Зло покаянием преодолевается», — говорит Алёша. «А мне не перед кем каяться, все предо мной

виноваты, мое теперь время, и уж я за все отыграюсь!» «Бог тебя не простит!» «Плевал я на твоего Бога! Нет никого и нет ничего в мире, кроме зла и тьмы!» «Свет не угасите!» «Чего говоришь? Погасим свет и всё, что надо, сделаем, потому что наше наступило тысячелетнее царство!» «Антихристово дыхание...» — прошептал Алёша. «Да, я антихрист! — чужой-то сын куражится, — антихрист-то тоже от блуда произойдет. Я еще антихриста пострашней, потому что нет во мне никакого Бога, одна обида, и я уж отыграюсь. Сначала тебя хочу измучить, чтоб ты сердцем пошатнулся и такое зло увидел, чтобы и в Боге и в человеке разуверился. В Боге потому: как Он допускает такое? А в человеке потому: как он может такое?» Молчит Алёша, знает, что близок его час, и молит о твердости духа и даровании смерти непостыдной.

Ухмыляется злодей, мучитель, на Алёшу глядячи. «Так скажи мне, брательник Алёша, где наш папаша Иринарх укрывается? Не хочешь говорить, так я тебе скажу. Скрывается он в Пудожских лесах, на речке Чаронге, в келейке убогой, а питают его добрые люди. Что, испугался? Всё мы знаем, на то мы и Чека, чтобы всё знать, от нас не скроешься! Удивляет тебя: знаем, где Иринарх скрывается, а не берем? Добрые мы люди такие, Алёша. Не даю я Иринарха арестовывать: пока он жив, я мезтью ему наслаждаюсь. Я его унижить хочу: он-то думает, что спрятался, скрылся, а я знаю, где он и всех, кто к нему приходит, потом велю арестовывать. Он, Иринарх, у меня вместо подсадной утки сидит. Думает: спасается, а на самом деле людей губит. Ловко я придумал? А потом папаша наш узнает, что ты в Чеку влип и всех людей, кто к нему ходил, выдал. Распустим слух, опозорим

тебя так, что все поверят. А уж как батюшке Иринарху тяжело это будет слушать! Может, его, старого хрена, кондрашка от этой вести хватит? Очень надо его арестовывать! Мог бы и в Москве сидеть, не нужен нам старец, а приятно мне последние дни ему испакостить, как я ему всю жизнь пакостил. Теперь тобой, Алёша, займемся. Попал ты ко мне в руки и уж на тебе-то я отыграюсь. Должен ты сказать нам всё про Черную книгу. Знаем мы, что отдал ее мужик старцу. У самого Иринарха, как мы установили, этой книги нет. Где она, ты знаешь. Опасная для нас эта книга, в ней наш день и час указан и все наши злодеяния открыты. Найти-то мы ее найдем, да тебе от этого не легче. Скажешь правду, может быть, и выпустим тебя или дадим срок небольшой. Не скажешь, придется тебя нашим молодцам отдать, а у них кулаки тяжелые, сам-то ты хлипкий, того гляди — зашибут до смерти и похоронят тебя, Алёша, без попов-дьяков, как падаль собачью. Так что выбирай. Знаю, что толком от тебя ничего не добиться, приготовил я тебе потому еще одно мучение».

Тогда вводят Марию, Алёшину духовную жену. Та к нему, к Алёше, кинулась. Чужой сын на нее прикрикнул: «А ну сядь в тот угол! Ну вот, — говорит, — голубочки и свиделись. Скажи-ка, Алёша, кем тебе приходится эта гражданка?» «Жена она мне духовная». «А он тебе кем приходится, гражданка?» «Муж он мой духовный». «Что это за муж такой? Это который в постели не щупает и детишек не делает?» «Не кощунствуйте, нехорошо!» — она говорит. «Этак, — чужой-то сын насмехается, — мой папаша на мамку не забирался, а я от прохожего молодца родился. Небось и ты также? Бабу-то удовольствовать надо, а где ж ему такому святому да худосочному! Небось, старым своим

ремеслом подрабатываешь?» «Как вам не стыдно! — она кричит. — Они меня спасли, и нет для меня никого дороже!» «А ты хочешь их спасти?» «Да, да!» «Хорошо. Переспи со мной ночку, как прежде спала, и я твоего Алёшу отпущу. Живите себе духовным браком да Богу молитесь». «Негодяй!» — она говорит. «А ты, Алёша, как? согласен, чтоб твоя духовная, — ду-хов-ная! — жена пожила со мной разочек плотским браком, как прежде жила?» «Ты думаешь, как нас унижить, — говорит спокойно Алёша, — а от этого и злость в тебе, что ты этого сделать не можешь. Чтó ты можешь сказать, как одну грязь и мерзость? И не меня ты, а себя ты мучаешь, и до конца дней своих и на том свете будешь страшно мучаться, потому что жжёт тебя огонь гееннский...» Чужой сын кричит: «Молчать! Щенок! Я тебя научу, как с Чекой разговаривать! Ты у меня попляшешь!» Дает сигнал, и сбегаются мордастые чекисты...

Нет, братцы, не стану дальше ничего рассказывать. Не могу... Одно скажу: прошел Алёша страшным крестным путем, страшно били его, ногами топтали, бородёнку молодую по волосикам рвали, увечили и уничтожали. Он стоял насмерть!

Чего, чего... Плачу, братцы... Ведь это стойкость-то какая! Как его распинали! И выстоял великомученик новый...

И бросили после этого Алёшу в камеру. Из последних сил приподнялся он, дополз до стены и кровью своею на ней крест вывел. Встал перед кровавым крестом на колени и разбитыми губами шепчет последнюю молитву...

И видит: сходит к нему Пресвятая Богородица и с нею старец древний Сергей Преподобный. Подходит к нему Божья Матерь, оттирает рукавом с Алёшина лица кровавый пот и, обращаясь к старцу, говорит: «Нашего он роду!», а Сергей ей радо-

стно: «Наш, вестимо наш, Матушка, чадо возлюбленное!»

Ой, братцы, мочи нет... Утром тюремщики вошли — Алёшу на новый допрос вести. Видят: стоит он на коленях, голова на грудь склонена. «Эй, — кричат, — кончай молиться! Вставай!» Тот не встает. Подошли к нему, трягнули, а он — мертвый!..

Помер Алёша мученически на молитве во славу Господню. Выстоял он и славной кончины сподобился, к сонму угодников Божьих причтен.

Чудеса, скажете? А как же без чудес! Что это за жизнь была бы, представьте себе, если бы в ней чудес не было, если б не было в ней угодников и чудотворцев?!

Говорю, а сам слезами заливаюсь... реву белугой... До того мне Алёшу жалко! Но и сердцем радуюсь, что есть еще такие люди на русской земле.

Совсем я расстроился, дорогие мои, сил нет говорить... Пойду за Алёшу помолюсь и выплачусь всласть. Даст Бог — еще свидимся, а нет — не поминайте лихом. Спасибо вам за компанию. Счастливо оставаться.

СКАЗ ДЕСЯТЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ

ПРО КОНЕЦ СУХАРЕВОЙ БАШНИ И ПРО ДНИ ТУГИЕ

Что же рассказать-то вам, дорогие мои? Совсем плохой я стал рассказчик, времена не те, тугие дни настали. Трактира Бугрова нет, на харчи опять карточки, да и погода какая-то нерадостная, холодно, зябко. Согреться бы водочкой советской, да и водочки нету. А болтать ноне нельзя, того гляди на Лубянку потянут, а я только оттуда, получил расчет за свой долгий язык и короткий ум. Так что и не просите, ничего сказывать не стану.

Про Сухареву башню? Разве что про башню досказать и, как у нашего любимого поэта — «и летопись окончена моя». Да... Что ж башня, нету башни, взорвали ее, ироды. Изучала ее напоследок комиссия по охране памятников старины и постановила башню убрать, потому-де мешает движению, а также служит символом старой власти. Так и сделали. А тайная-то причина, хорошие мои сударики, как вы знаете — только уж держите языки крепко — причина-то лежала не в этом. Очень им хотелось ту Черную книгу добыть, потому как в ней вся тайна властвования: кто книгой завладеет, тот и утвердится. Надо было им ту книгу добыть, либо ее вовсе уничтожить, и тогда уж можно ничего не опасаться. С того и заварилась вся кутерьма. Сама-то книга как книга никому не нужна, разве что очкастому профессору, чудаку-книгоеду, да вот заклятие в ней смущало. И кто сюда только ни вмещался: и власть несущие, и охраняю-

щие, и сам бес московский немало наколобродил, а не удалось им взять Черную книгу. Святость русская им помешала. Нашла их коса на бел-алатырь камень православной веры.

Вишь, слух-то ходил, что нет уже книги в башне, что она у старца Иринарха, а он положил на всё ее волшебство свое святое слово, так что теперь все чары бессильны. А раз так, то вся святая правда оказалась у старца. Очень им этот старец досаждал, тем особенно, что здесь он, а найти не могут, а все знают, что жив промеж нас святой человек. Как всё это было, вы уже слышали и знаете, что исчез старец бесследно. Ходит молва, что появился в месте глухом, неведомом, среди лесов леших и блат непрохожих, скит убогий, спасаются в нем старцы, Богу молятся, книги пишут на бересте. Многие бы туда пройти хотели, полюбопытствовать на святую жизнь, да путей-дорог туда никаких нет.

А вот Черная книга где? Говорят одни — уничтожилась она, другие — что отныне в другом месте обретается. Третьи-то, ученые люди, уверяют, что никакой такой Черной книги нет и не было, что сей слух вздорный. А четвертые считают, что где книга лежала, там она и лежит. Значит, стали в башне копать, искать ее. Тут и агенты ее ищут, тут и профессор, старичок полоумный, тоже от себя ищет. Поискали агенты — не нашли, и тогда постановили башню Сухареву взорвать, а с ней вместе и Черную книгу, вот тогда и спокойно будет. Всем слухам конец и всем легендам, очень уж большое беспокойство от этих легенд. А я вам скажу, люди добрые, друзья хорошие, что без легенд-сказаний какая уж Москва! Человек я московский, хожалый, люблю старинку, идешь, бывало, мимо Сухаревской и думаешь: а вот ведь говорят, что в ней Черная книга замурованная ле-

жит, и хоть не веришь, а все какая-то теплинка на сердце. Потому как чудачки мы — московские, все как есть — чудачки: и те, кто книгу искал, и те, кто им козни строил. Да, вишь, вот чем чудачество обернулось, время настало твердое и почудачить нельзя. Ну, я, ребята, ничего не говорил, а вы ничего не слышали...

Да... опутали ее, сердешную, проводами всякими, а к проводам прицепили динамит гремучий. Как по проводам ток пустят, так взлетит вся громада к чертям собачьим! — просто это делается, в одну минуту, а строится лета и стоит века. Помешала им, вишь, башня! Я как ни пройду мимо того места — не могу, плачу душой, сердце кровью обливается. Такую красоту стубили! а на ейном месте построят сральник, попомните мое слово!

И вот оцепили они всю площадь, всю башню осмотрели, чтоб никто не остался, из ближних домов народ выгнали на всякий случай, кино приехали снимать, аппараты навели. Начальник команду дает: «Внимание! Приготовиться...» Тут неведомо откуда выскакивает профессор такой очкастенький, с бородкой клинушкой: «Стойте, стойте! — кричит и руками размахивает. — Нашел, нашел, знаю, где она!» — и к башне кидается. А следом за ним бежит оборванец-хитрованец, комсомолист-то тот бывший, несмышлёныш: «Отдай книгу!» — кричит. А начальник не видел, что ли, уж на кнопку нажал, и бахнуло на всю Москву, так что от взрыва в соседних домах стекла повывлетали и колокола на ближних церквах сами зазвонили. Чудачку тому и несмышлёнышу, конечно, враз крышка, и следов не осталось, а башня на кирпичи рассыпалась. И, говорят, в черном дыму вылетел кто-то и похохатывал... Сказывают также: ходили специальные люди, проверяли в мусоре, да ничего не нашли. А может, она в фундаменте осталась,

книга-то? Фундамент-то не затронули, так и засыпали его, и теперь всем дорога открыта, где башня стояла, — ходи, езд, будто и не было такой.

Вот вам, люди добрые, и весь сказ про Сухареву башню и про Черную книгу. Башни нету — значит, и сказу конец. Ведь это легче всего — взорвать или изорвать, а вот каково создать всё это? Ну да что говорить без толку. Содеянного не воротишь... Люди вы все верные, хорошие, многое сказать вам хочется, да побаиваюсь. Ходил тут один рязанец с длинными ушами, а мне пришлось за свой язык ответ держать, где не надо. Известно, малый член тела — язык, а крупные неприятности от него исходят. И вам советую: знайте да помалкивайте, нонче иначе нельзя, а бережёного, известно, Бог бережет. Ох, не хотел я нонче сказывать, да прорвало на свою голову. А что поделать? Человек я московский, говорливый, друзей-товарищей люблю, сказки сочиняю да людей ублажаю. Русский я человек, ребята. Все мы люди русские, жопы у нас толстые, а лбы узкие. Оттого и все беды наши. Уж вы не сетуйте на меня, дурака. Болтаю я много, наклат вам три короба, а вы и поверили, уши развесили. Так уж решим: я ничего не говорил, вы ничего не слышали. Молчок, одним словом. Эх, люблю честную компанию, да пора восвояси...

И откуда ты только, ловкий, эту заразу достал? По талону дали? Ишь, а хороша! Конечно, до прежней ей далеко, а чувствительность имеется... Дай Бог всем доброго здоровья.

Да... вызывали меня куда следует за язык мой длинный. «Ты чего, — говорят, — болтаешь?» Отвечаю: «Не болтаю я вовсе, а когда случится — в хорошей компании сказы сказываю». «Мы, — говорят, — тебя за эти сказки упечём, куда Макар телят не гонял!» «Меня-то, — отвечаю, — упечь

просто, а молву-то куда денешь? сказ-то он бесплотный и бескостный, его так запросто не посадишь». «Ты, — говорят, — поповскую агитацию разводишь... ты и белый, ты и черный...» — и чего они про меня ни говорили, прости их, Господи! «Нет, — отвечаю, — я самый натуральный московский человек и никому не врал, а хочу я своему отечеству счастья и добра!» «Ну, твое счастье, — говорят, — что за тобой письменных улик нет, а не то бы... Убирайся вон, но смотри...» Подписку взяли о невыезде. «И болтать, — говорят, — не смей, засадим сразу». Эх, прорвало меня, видно, на свою голову! Была не была! Пусть засадят, а доскажу вам всю правду, как есть. Ничегошеньки мне теперь не страшно, я свое сказание склал и не боюсь! Пусть вам сказал, немногим, слово — оно крылато, подхватит его и — дай Бог! — разнесет по всей земле нашей и за пределы ее. С тем и на Страшный Суд пойду и скажу Господу: «Суди меня, Господи, строго — нескладного, болтуна, сочинителя, глуп я был и грешен, а вот всё-таки был я московским человеком!»

Я-то кто? Старикашка перешный, книжник московский, трепач с Малой Сухаревской. Начитался книг старинных, вот и вам сочиняю, весь книжной пылью пропах и говорю не по-нонешнему, а по-книжному, затейливым российским слогом, а всё же, братцы-граждане, говорю правду истинную, и не токмо вздор несу, а самую натуральную побывальщину. Чудесные дела приключаются в нашем богоспасаемом граде Москве, о них и толкую. Иной-то не поверит: где, скажет, такие люди, как батюшка Иринарх или Алёша-великомученик, или чужой сын, а они есть и с нами вместе по одним улицам ходят.

Много бед видала Русь, а жива, выстояла, и мы выстоим!

Жестокие времена, тугие дни, а всё же живы мы и свой смысл имеем.

И что за веселость, что за удалство, братцы, быть московским человеком! И есть у нас Москва-матушка! Не берегут ее, родную, испакостили всю, народом сверху донизу забили, так что простору жизненного не осталось, старинку всю извели, святынь сколько порушили! — а вот всё же есть она, Москва, братцы, и есть Кремль, и была Сухарева башня, и Христос Спаситель — наше всё это, люди добрые, берегите в сердцах ваших и никому не отдавайте, коли на деле сберечь не смогли.

Помните, что есть чужие сыны, и ненавидят они святыни наши, и ненавидят башню Сухареву, как веру Иисусову.

А почто веру ненавидят? Пока живо Слово Божье, их черной вере не бывать! Укоряет она, вера наша, их-то. Обида их берет и зависть. Душа-то, она — Божья и никаким их законам неподвластна. Потому-то и нужна им так Черная книга.

Что же это была за Черная книга такая, о которой наш хитрый сказ шел?

А мало ли на свете черных книг? Что на магию полагаются и все блага сразу сулят. Наша-то книга — сказка, а есть и такие взаправду, что как в сказке: прочел ее — и всё исполнилось, только уж обязательно чтобы без Бога и душу лукавому продать, и уж, конечно, через кровь — без крови в чернокнижники никак. Вот оно где, чернокнижие-то двадцатого века!

А может, даже и не в Черной книге дело, а в правде? Правды они боятся, ее и заклинают. Плохо, если так-то. Потому-то они по черным книгам жить хотят, а наше всё пустить на поток и разорение, в мерзость запустения святыни обратить. Вот и мельтешат средь нас разные бесы и бесики. Читаешь газету и ясно, чьи это проделки — он,

наш московский бес. Большую силу взял! С самым главным в равных ходит и всё, что его поганый куцый хвост пожелает, то и творит. А как побороть его? Одно знаю: постом и молитвою; сплотиться вокруг матушки святой православной Церкви и за веру нашу стоять насмерть!

Берегите ее, святую нашу православную Церковь, люди русские. Верите вы али не верите, а берегите. Кто из вас в свою старенькую старушку-мать плюнет? А в Церковь плюете, да еще гордитесь этим. А в Церковь плюнуть, что в мать плюнуть.

Что же сказать вам еще, мои дорогие? Досказать прошлый сказ прóсите. Грустно мне сегодня чегой-то, предчувствую разлуку с вами скорую, таить ничего не буду, всё доскажу.

Спрашиваете меня, не понятно вам: почто ж батюшка наш Иринарх находился в схороне и подвергался преследованию? Сказ мой вас не удовлетворяет? Добавлю тогда, что слышал. Ох, непросто стало на Руси! Рухнула старая держава Российская, и Церковь наша православная покачнулась. Покачнулась, а устояла. Но велики козни вражеские. Появились новые расколоносцы, обновленцы, «красными попами» рекомые, нашлись и в самой нашей Церкви пастыри недостойные или малодостойные. Властолюбия ради забыли малых сих, пошли на поклон власти антихристовой. Склоняли они Иринарха на свою сторону, нужен им был такой святой человек, многое ему сулили, но он их отверг и проклял. Не простили ему этого, один из них в особенности, не назову имени, и донес он на старца, что монархист-де он и против власти.

Да только не враг он никому, батюшка наш,

Иринарх-старец, а — скажу вам, братцы, — гордость он наша и человек самый наирусский, самый православный человек (многие ныне этих слов стыдятся, а я не стыжусь и горжусь!).

Что с чужим сыном случилось? А вот что. Есть Бог и есть Божий суд. Сгорел чужой сын, семя адово. Пока он Алёшу допрашивал, помощник его — ухо к щёлке; в Чека друг на дружку стучать положено. Услышал он про Иринарха-то, что его большой чекист своим отцом называет. Стал вести на свой страх тайный розыск и узнал, что чужой сын был в церковных книгах записан сыном крестьянина Семена Галкина, ставшего потом монахом Иринархом. Стал копать дальше и выяснил, что этот сын-то сукин сослан был на каторгу за разбой и сидел там до революции, а как революция началась — убил политического ссыльного и под его видом объявился. Тут чужому сыну и конец пришел. Попали бумаги к самому главному, тот и вызвал к себе чужого сына. Видели, как из ворот выезжал, да не видали, как возвращался. Помощник-доносчик на его месте стал.

Алёшину-то духовную жену из каземата выпустили — седая вся и умом повредилась. Может, и видели ее. Ходила по Сухаревке Маша-блаженная, на Алексия-угодника копеечку собирала. Всё она вокруг Сухаревой башни бродила и наверх просилась. Исчезла она в один день, куда — неизвестно. Говорят, всё-таки пробралась на башню и оттуда бросилась. Легенда это, конечно, про каждую высокую башню сказ есть, что с нее какая-нибудь девица кинулась.

А старца Иринарха берегут верные люди, до поры в схороне он (врал собака, чужой сын, что

место знает, чтоб Алёшу смутить), и большая радость, что остался на Руси хоть один праведный человек и князь века сего не коснулся его. Известно, без человек праведных несть граду стояния.

А Алёша погиб, братцы, погиб за правду и за веру истинную. Хлипкий он был телом, костистый, а духом — богатырь великий. В былое-то время такие с татарвой бились, во чисто поле выходили, как Пересвет-инок, стояли насмерть. Так и Алёша, братцы мои! Встал и не сдвинулся!

Плачу, братцы!.. Как вспомню Алёшу — не могу, слезами заливаюсь, так-то его жалко... а чего жалко, и не понимаю толком, сознаю лишь, что его нету, чтоб поклониться святым его мощам, и отчество-фамилия его неведомы. Но поминаю его каждый день, и вы, братцы, помните, что за люди меж нас жили. Не то что мы — труха, сажка. Нам бы его стойкость — многое бы по-другому было.

Всё поняли? Тогда сказу моему конец. Весь я выговорился. Склал сказ свой нешуточный, правду-матку выложил и теперь ничего не страшусь и крест приму! А за то, что сложил, как писцы наши древние, кончив труд свой, прибавляли: не кляните, а благодарите; аки радуется заяц, избег тенет вражьих, також аз, заяц Божий, радуюсь и аки радуется корабельщик, переплыв пучину морскую, також и аз многогрешный радуюсь, достигнув сей пристани — исхода своего повествования.

Доброго вам здоровья, люди русские! Не гневайтесь, если смолол что не так, и простите, если согрубил в чем. Все-то мы хорошие, все-то мы пригожие, всё мы понимаем и будем беречься, а береженого Бог бережет. Всё поняли? Будет, будет на Руси правда истинная, и рассыплются все чер-

ные книги в прах! Прощайте, други-товарищи сердешные! Всем вам низко кланяюсь. Верно, больше не свидимся. Еще раз прощайте. Храни вас Бог! Спасибо вам за компанию. Счастливо оставаться!

**КОНЕЦ МОСКОВСКОЙ ЛЕГЕНДЕ, СКАЗАННОЙ
В ПИТЕЙНОМ ЗАВЕДЕНИИ НА СУХАРЕВКЕ
НЕКИМ МОСКОВСКИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ИМЯ ЖЕ
ЕГО ТЫ, ГОСПОДИ, ВЕСИ!**

СОДЕРЖАНИЕ

- Сказ первый. Про Москву, людей московских, про башню Сухареву и про Чёрную книгу 5
- Сказ второй. Про старца Иринарха и чужого сына 13
- Сказ третий. Про Алёшу, юношу чистого, и московскую блудницу 23
- Сказ четвертый. Про ловкого чекиста 31
- Сказ пятый. Про московского беса 39
- Сказ шестой. Про очкастого профессора-чудака и Петьку-комсомолиста, несмыслёныша 53
- Сказ седьмой. Про великого грешника, про мужика русского и опять про беса 67
- Сказ восьмой. Про антихриста и времена последние. Поучения Иринарховы 81
- Сказ девятый. Про страсти Алексия, нового великомученика московского 99
- Сказ десятый и последний. Про конец Сухаревой башни и про дни тугие 115